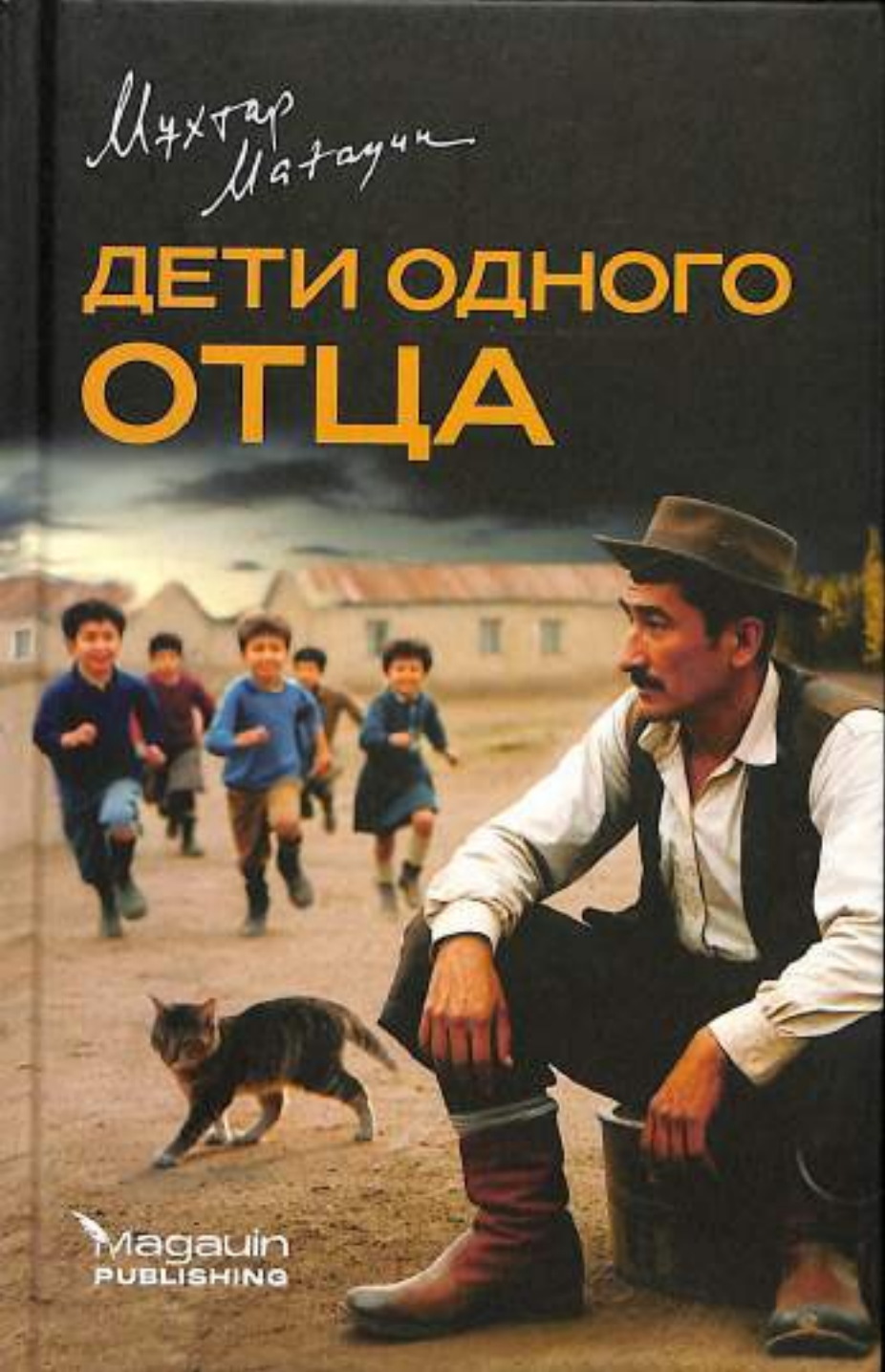
Мухтар Магауин

ДЕТИ ОДНОГО ОТЦА



Magauin
PUBLISHING

Мухтар Магауин

Дети одного отца

Повесть

Magauin publishing
Алматы – 2026

УДК 821.512.122
ББК 84 (5Каз)
М 12

Перевод с казахского Ю. Герта

Магауин М.
М 12 Дети одного отца: повести / М. Магауин. пер. с каз. Ю. Герта. – Алматы: Magauin publishing, 2026. – 120 с.

ISBN 978-601-82444-3-8

Талантливый писатель Мухтар Магауин в повести «Дети одного отца», основанной на реальных событиях, изображает судьбы детей разных национальностей, оказавшихся в казахском ауле в годы войны. Через образы Зигфрида, Нартая, Ертая и Якова автор раскрывает не только трагедию военного времени, но и гуманизм, милосердие и братство казахского народа.

УДК 821.512.122
ББК 84 (5Каз)

ISBN 978-601-82444-3-8

© Перевод Ю. Герта, 1986
© Магауин, 2026
© Magauin publishing, 2026

ДЕТИ ОДНОГО ОТЦА

Всем известна русская песня о войне с припевом: «Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят». У всех, кто ее слушал, на глаза накатывали слезы.

Однажды в доме у стариков, потерявших всех своих сыновей на войне, я увидел фотографию, снятую весной 1942 года. На ней были парни одного аула, только что призванные в армию. Их было шестьдесят семь. С той войны в аул воротилось только трое...

Тех из них, кто погиб, я никогда не видел и не могу о них писать. Но я знал безутешных отцов и матерей этих молодых мужчин, знал их малых детей, оставшихся сиротами. Знаю, сколько лет было бы сейчас тем, кто не успел от них народиться...

Эту небольшую повесть мне хочется посвятить детям, которых осиротила война, и памяти жертв фашизма, особенно тех, кто навечно сомкнул глаза, так и не сделавшись отцом. Пусть она станет горстью земли, брошенной на могилу павших, и песнью, которая, может быть, утешит живых.

Автор

– Ну вот, уважаемые, теперь все в сборе... Слушайте и решайте, – сказал баскарма[1]. – Сами знаете, когда я уезжал, то думал, что вернусь и привезу нам помощников. А получилось все по-другому. В наш Булгыртауский район направили ребят из детских домов, пятьдесят четыре человека. Дорога далекая – пока я до райцентра добрался, тех, что постарше, другие колхозы разобрали. Оно и к лучшему. У всех нехватка. И мы тоже не восполним потери тем, что прибавится несколько рабочих рук. Посмотрел я на оставшихся сирот, подумал... И взял самых маленьких.

Люди зашумели. Еще до того, как собраться, прошел слух, что председатель колхоза вдвоем со счетоводом привезли полную подводу ребятишек – мал мала меньше. Так оно, значит, и есть.

– Тише, уважаемые, – сказал баскарма, поднимая руку. – Не шумите. Привезли мы только шестерых. Все равно на всех не хватит. К тому же как бы не случилось такого, что кто нынче пригреет, завтра слезы лить заставит... Это не по нашим казахским обычаям. Может, в район еще детей направят, тогда и спорить не придется. А пока давайте решать по-божески. Эй, байбише[2], – крикнул он, – выведи ребят, если они поели.

– Сейчас, аксакал, – послышалось из юрты.

[1] Баскарма – начальник; в данном случае: председатель колхоза

[2] Байбише – в данном случае: почтительное обращение к пожилой женщине, хозяйке дома

– А ну, отступите немного, дайте место, – сказал баскарма.

Перед входом в юрту расчистился полукруг. Он то увеличивался стараниями баскармы, то уменьшался: каждому хотелось быть впереди, люди теснились, подталкивали друг друга. И трудно было понять, кто на что-то надеется, а кем владеет простое любопытство.

Наконец в дверях мелькнул белый платок жены председателя. Но она еще немного замешкалась, хотя войлочный полог был уже откинут.

– Идемте, милые, идемте...

Точно желтый взъерошенный цыпленок из-под белого крыла наседки выглянул из юрты мальчуган, худенький, с тонкой шеей и соломенными волосами. Гомон сразу стих – как ножом срезало. Следом за мальчуганом стали выходить один за другим остальные малыши – кто рыжий, кто черненький, у кого каштановый вихорок на макушке. Не то яркое солнце их слепило, не то заробели они перед примолкшей, пестро и бедно одетой толпой, но дети сгрудились у самого входа и застыли в неподвижности.

– Э, лопоухие, да вы не бойтесь, – сказал баскарма. – Ступайте поближе. – И каждого за руку вывел и поставил в ряд перед юртой.

Люди, затихшие было, снова оживились, загудели, начали переговариваться вполголоса, когда заметили среди детей и таких, у кого кожа была смуглой, а глаза черными.

– Ну, Дауренбек, – обратился баскарма к молодому человеку в синих галифе и солдатской гимнастерке, стоящему впереди всех со скрещенными на груди руками, – читай свои документы, рассказывай про ребятишек, что и как.

Дауренбек, тяжело топая солдатскими сапогами, вышел на два-три шага вперед и вытянул из нагрудного кармана сложенный вчетверо листок – вытянул довольно неловко, неумело, действуя левой рукой, на которой уцелели только большой палец и половина мизинца. Затем, переложив листок в здоровую руку, развернул его, разгладил складки и некоторое время беззвучно шевелил губами, читая текст про себя. Закончив, он пересчитал детей обрубком мизинца, опять заглянул в бумагу и, переменив ребятишек местами, заново выстроил перед собой. После этого он прочистил горло, прокашлялся, сложил аккуратно листок и вернул его в карман.

– Все правильно говорит басеке,[1] – сказал он, – детей записано шесть человек. – И строго посмотрел на ребят. – Всем стоять смирно, пока я буду знакомить... Называю по порядку. Вот список товарищей, направленных на помощь труженикам тыла. Двое крайних на правом фланге – братья. Казахи. Старшему восемь лет, зовут Нартай. Младшему шесть, зовут Ертай. Следующий за ними – Рашит, шести лет, татарин. Дальше, – он указал на девочку с обритой наголо головой, узкоглазую, скуластенькую, – то ли калмычка, то ли дунганка, шести лет. Возле нее – Яков, девяти лет, в бумаге записано, что русский, хотя по виду... – Дауренбек покачал головой, приглядываясь к большеносому мальчику, – по виду скорее еврей. Откуда пришел в детдом, где жил раньше – неизвестно.

[1] Басеке – уважительное от баскарма

Не то замка, не то наполовину немой... Последний, вот этот, который вышел первым, – семи лет. Чего от вас скрывать, плохого роду-племени – немец... Ему бы не место в детдоме, но взяли его, поскольку лишился отца-матери и остался без крова. Великодушие правительства. Вот и стоит теперь перед вами.

Дауренбек замолк, упершись взглядом себе под ноги.

По толпе побежало:

– Это как же?..

– Что – как же?

– Да мальчик этот...

– Который? Их тут пятеро...

– Дети... Ну... Кто возьмет... Те, что возьмут... Как же...

– Я все сказал, – отрывисто произнес Дауренбек. – Есть еще вопросы?

Вопросов не было.

– Тогда я кончил, – повернулся к председателю Дауренбек. – Баскарма, теперь слово за вами.

– Э-э, какое уж тут слово... Из аула нашего ушли на фронт сорок три джигита, все как на подбор, молодец к молодцу. А вернулось пока только двое: Дауренбек, считай что без руки, и Берден, потерявший ногу. На двадцать четыре человека похоронки получили. А сколько без вести пропавших?.. Если разобраться, все мы, выходит, сироты, всех нас война осиротила... Будь у нас в колхозе по-прежнему, разве мне, Токажану, с моей грамотешкой, занимать бы место председателя, вести хозяйство? Или Ахмету в его семьдесят лет – ходить днем за скотиной, а по ночам пасти лошадей?.. Да что поделаешь – остаётся только крепиться... – Баскарма помедлил, проглотил подкатывавший к горлу ком. – Э-э, зачем говорить долго, время попусту тратить? Мы сыновей лишились, а те, что стоят перед вами, – родителей. Две половинки – одно целое... – Голос у него надломился, по-стариковски задребезжал. Баскарма думал что-то еще сказать, но, видно, не смог и только махнул рукой.

– Тока, – нарушив тишину, обратился к нему черноусый мужчина в стеганке. Левая нога у него была обута в старый растоптанный саптама – сапог с войлочным голенищем, правая опиралась на новый, обтянутый кожей протез. Это был Берден, тот самый, о котором обмолвился председатель. – Тока, многие из нас взяли бы детей. И я, и аксакал Ахмет, и Тлеубай... Да и вы, наверное, тоже не хотели бы ни с чем остаться. Дети еще маленькие, можно сказать – несмышленыши. Завтра же и позабудут, откуда пришли. Будем родными... Вы уж сами нам их раздайте, баскарма.

– Правильно ты рассуждаешь, Берден, – сказал баскарма, успокоившийся и вновь посуровевший. – Только выбирает пускай себе каждый по сердцу, а я послежу, чтобы не было никаких обид. За вами первое слово, аксакал.

До того, как к нему обратился председатель, аксакал Ахмет, сохраняя полнейшую невозмутимость, восседал на своем коне, рыжем жеребце, сверху вниз посматривая на собравшихся. На голове у него красовался облезлый

тымак[1] из поярковой шкурки, сдвинутый на левый висок, с лихо задранным кверху правым ухом. При последних словах баскармы он отбросил прочь длинный курук[2] с петлей на конце и ловко, с почти юношеской легкостью соскочил на землю.

– Кого из детей облюбуете, того и берите...

Ахмет прошел сквозь расступившуюся толпу и остановился перед детьми, как бы размышляя, кого ему выбрать. Пристальным, цепким взглядом окинул он каждого из шестерых и шагнул к братьям казахам, стоявшим в начале ряда. Они жались друг к другу, старший обнимал младшего, положив руку ему на плечи. Ахмет осторожно попытался их разделить, но мальчики только еще теснее приникли один к другому. Тогда он, вздохнув, опустился на колени, обнял обоих, прижал к груди и каждого поцеловал в лоб. Потом, поднявшись, по очереди погладил всех детей по голове и взял за руку замыкавшего ряд худенького светловолосого мальчугана.

– Вот кого я выбрал.

Толпа заволновалась.

– Воля ваша, – сказал баскарма.

– Как его зовут? – повернулся Ахмет к Дауренбеку.

Тот пробормотал, глядя куда-то в сторону, мимо Ахмета:

– Пожалевший врага им же будет ранен...

– Эй, ты чего мелешь? Я ведь у тебя совета не спрашиваю, – вскинулся Ахмет.

[1] Тымак – шапка, треух

[2] Курук – шест с петлей на конце для ловли лошадей

– При седой бороде на сомнительное дело решаетесь, аксакал.

– Не встревай в подхвостник, светик мой, – усмехнулся Ахмет. – Знавал я я отца твоего, атшабара[1] Бакибая, так и он передо мной не смел хорохориться. – Старик поправил тымак на голове концом сложенной вдвое камчи. – Ты емису[2] три пальца отдал, а я – трех сыновей... Не задерживай зря, скажи, какое имя у моего мальчика?

– Зигфрид Вольфганг Вагнер. Довольны? – косо улыбнулся Дауренбек.

– Зекпри Болыпкев... Как, как?..

– Зигфрид Вольфганг Вагнер.

– Э-э... Хорошее имя, – кивнул Ахмет. – Айналайын[3], пошли. Домой пошли. Мать дожидается тебя... Что нам до чужих толков, пошли домой.

Он направился к коню, которого держал за повод кто-то из нукерных ребят, сбежавшихся поглазеть на небывалое зрелище. Подняв Зигфрида, неловко раскорячившего ноги, Ахмет посадил его в седло. Потом нагнулся, подобрал с земли курук, и, едва коснувшись носком стремени, вскочил на коня сам. Седло, украшенное серебряной насечкой, оказалось достаточно широким, оба в нем уместились: впереди – мальчуган с голубыми глазами на малокровном, худом

[1] Атшабар – помощник-посыльный разных лиц в дореволюционном Казахстане (после присоединения к России)

[2] Емису – женщу (искаженное)

[3] Айналайын – глубоко эмоциональное казахское слово, выражающее сильную любовь, нежность и заботу, не имеющее точного дословного перевода, но близкое по смыслу к «милый», «голубчик», «душа моя»

лице, давно не стриженный, обросший длинными светлыми вихрами, позади – сохранивший прямую осанку старик, с молодецки закрученными седыми усами и остроконечной бородкой, дочерна загоревший на солнце и степном ветру.

Рыжий жеребец с белой отметиной на лбу, давно изучивший все маршруты хозяина, повернул было вправо, к холмам, где паслись лошади, основная рабочая сила колхоза, но старик, натянув поводья, тронул коня влево, а затем, пришпорив жеребца, поскакал, нарушая собственные привычки и заведенный обычай, напрямик, пересекая аул. И только после того, как позади остался и аул, и свора исходивших лаем аульных собак, преследующих жеребца, Ахмет придержал коня, разрешая ему перейти на шаг. Впрочем, и спешить больше было некуда: впереди, несколько на отлете от аула, виднелась одинокая юрта, в которой жил Ахмет.

– Да будут их дни долгими и радостными! – сказал баскарма, задумчиво смотревший вслед Ахмету до тех пор, пока тот не добрался до дома и не сошел с коня перед своей юртой. – Это последняя кибитка, оставшаяся от почитаемой всеми, дальними и ближними, семьи – самой славной у нас в роду... Ну, пора и на работу выходить, поторопимся, – вернулся он к делу. – Баке, теперь, после Ахмета, ваше право выбирать.

– Спасибо, Токажан, сынок, – закивал в ответ председателю сгорбленный старичок, и толстая палка, на которую он опирался всем своим сухоньким телом, дрогнула и заходила в его руках. – Спасибо... Но бог отнял у меня

моего единственного, хотя когда-то я едва вымолил его у неба... А теперь мы со старухой добрели до края могилы... Зачем горемычное дитя, потерявшее родителей, снова делать сиротой? Зачем лишний грех брать на душу?..

После слов Баке общее возбуждение окончательно улеглось, поладили без шума, споров. Если сам баскарма, соблюдая порядок и приличие, терпеливо дожидался своей очереди, значит и другим негоже рваться вперед. И те, кто разобрал малышей, и те, кто остался с пустыми руками, – все, казалось, были умиротворены. И лишь когда горько, навзрыд, не слушая уговоров, заплакали братья Нартай и Ертай, не желавшие разлучаться, людям сделалось не по себе. «Как я заранее о таком не подумал, дурень!» – укорял себя баскарма. Женщины, глядя на сирот, утирали слезы, мужчины, помрачнев, стояли безмолвно, не расходясь по домам. Но ни бригадир Бердеи, который выбрал Ертая, ни косарь Тлеубай, которому достался Нартай, не думали уступать, расставаться с детьми. Дошло между ними до резких слов, могло бы, чего доброго, дойти до потасовки, не вмешайся старшие. «Были бы дети счастливы, – сказали они, утихомиривая упрямцев, – А слезы сегодня прольются – завтра высохнут. Все обиды забудутся...» Последние слова прозвучали утешением и для остальных. Люди разошлись.

Назавтра разнесся слух, будто бы старый Ахмет пригласил к себе жившего в соседнем ауле муллу Жакана, чтобы обратить немецкого мальчика в истинную веру. Но когда мулла попросил за свои услуги козленка, Ахмет, рассердясь не на шутку, будто бы не дождался даже конца чаепития и тут же выпроводил Жакана за порог. При этом Ахмет напомнил ему о праведном халифе Али, который наставил на путь аллаха тысячи и тысячи, но ни у кого за это козленка не требовал... А на другой день, по тем же слухам, заявился неуемный старик на центральную усадьбу колхоза и увез к себе ходжу Сеитбека, который давно уже не показывался на людях, и Сеитбек будто бы исполнил над мальчиком положенный обряд обрезания. Опять ждали шума, но на этот раз все обошлось мирно. И аульные сплетницы рассказывали, будто ходжа уехал к себе довольный, получив подарок – овцу с ягненком.

Трудно выяснить, где тут правда, где вымысел, достоверно другое: весь аул пригласил Ахмет на той в честь праздника усыновления. По исстари заведенному обычаю, принятый в семью в этот день «держит асык-жилик», то есть ему вручается большая берцовая кость, асык-жилик, в знак того, что не приемышем входит он в дом, а родным сыном.

Люди давно не отведывали свежего мяса и собрались от мала до велика, молодые и

старые. Ахмет же на радостях прирезал своего единственного барана и отварил всего, вплоть до ножек и внутренностей. Хватило вдоволь гостям и жирного мяса, и наваристой супы, наелись так, что, когда разостлали дастархан для чая, никому не хотелось уже и смотреть на рассыпанный по скатерти курт и иримшик[1]. Разве чтобы только утолить жажду, выпили по чашке пустого кипятка – заварки в те времена было днем с огнем не сыскать.

И тут бригадир Берден строго напомнил, что с утра на работу, мол, раньше ляжешь – раньше и поднимешься... Но баскарма остановил его. Вот уж два или три года люди не видели такого тоя, пускай душу отведут.

Женщины хором затянули песню. Протяжная мелодия, начинавшаяся словами «Бир бала» – «Один мальчик...» – навевала тоску и уныние. «Откуда мне ждать радости... Печальна моя земля...» Но старые напевы сменились новыми, неизвестно кем сложенными, неведомо как занесенными в аул, и хотя неказисты были у них и слова, и мотив, зато душу облегчали, а того сейчас и хотелось.

Женщины пели, мужчины, послушав немного, вышли из юрты. Постояли, потолковали о том о сем. Ночь была темная, безлунная, ни зги не видно, в небе мерцали звезды, и не было им ни числа, ни счета. Мерцали, светились, как и пять, и десять, и сто лет назад.

[1] Курт, иримшик – сушеные молочные продукты

Все такие же юные. Такие же не ведающие ни горестей, ни печалей...

А женские и девичьи голоса льются-заливаются: «Пой, мое сердце, про того, кто в бою... Вернется ли он ко мне, я не знаю... Только жду его, жду...»

– Ау, друзья, что же так стоять? Может, кто поборется, силу покажет? – нерешительно предложил баскарма.

Желающих не нашлось. Одни старики в ауле остались, до молодецких ли им утех?.. Еле-еле вытолкнули на середину двух аксакалов. Покряхтывая, долго ходили они по кругу, разминали затекшие ноги, но постепенно, подогретые подбадривающими восклицаниями, ухватились друг за друга. Этот попытался дать тому подножку, тот – положить этого на лопатки, но только потоптались, поохали, уморились вконец и уселись на землю – отдохнуть. Впрочем, остальные вдоволь повеселились. Тоже хорошо...

Зато когда смолкли смех и шутки, в тишине еще слышнее стали женские голоса. Раньше они звучали нестройно, вразнобой, а теперь, как ручейки в одном русле, слились в единой жалобе и надежде.

– Надо мальчишек заставить бороться, – предложил кто-то.

Но мальчикам не было дела ни до грустных женских песен, ни до борьбы, о которой, вспоминая собственную молодость, говорили старики, – они себе резвились за юртой, играя в свои веселые ребячьи игры.

– А не потягаться ли нам в кокпаре[1]? – подал голос косарь Тлеубай.

– Ойбай, в темную-то ночь...

– Что ночь – не беда, только где козла возьмем?..

– Если Ахмет-ага не пожалеет шкуры барана, что пошел на угощенье...

Слово за слово, а Тлеубай уже не шутил и уговоров не слушал: «Или сегодня, или никогда!..» Вскочил на одного из коней, привязанных возле юрты, зажал свежую баранью шкуру под коленом, гикнул диким голосом и пропал во мгле. Только топот, стихая в отдалении и снова приближаясь, плыл кругами над ночной степью.

– Ойбай, глупая голова!.. – вздохнул Берден. – Себе шею свернет – его дело, а вот скакуна покалечит... Вернись! Эй, вернись назад!

Тлеубай между тем поднялся на невысокий перевал сразу же за аулом и остановился, развернув коня поперек. На фоне слабо светящегося, усыпанного звездами неба можно было разглядеть его размытый силуэт.

– Не верну-у-усь! – крикнул он. – Опозорю вас всех, увезу шкуру к себе домой!.. Эй, торопитесь, а то мне ждать надоело!..

– Ведь и вправду на целый свет осрамит, – проворчал Берден. – Какой под ним конь?

– Кок-Домбак.

– Скверное дело. Его разве что Жирен-Каска аксакала Ахмета нагонит. Отвязывай рыжего с белой отметиной... Да поскорей, не то этот беспутный скроется из виду.

[1] Кокпар – козлодрание, вид конного состязания

Привели коня, помогли, подсадили Бердена. И тут стало видно, как Тлеубай тронулся с места.

– Если вернусь ни с чем, пускай и вторая моя нога будет деревянной, – сказал Бердев. – Чу-у, жануар, благородное животное!..

Спустя мгновение он уже одолел подъем.

И тут поднялся такой переполох, словно враги на аул напали. Кто-то устремился к лошадям, привязанным возле юрты, кто-то кинулся к тем коням, которые отдыхали перед завтрашним рабочим днем, паслись неподалеку в степи.

Топот копыт и отрывистые гортанные выкрики, доносившиеся то из степи, то со стороны окрестных холмов, долго еще не утихали в ту ночь.

Зигфрид Вагнер, уютно устроившийся в теплой постели и уснувший еще до того, как гости расправились с мясом, наутро проснулся Зекеном Ахмет-улы Бегимбетовым.

* * *

– Если хотите знать, – сказал Ахмет, – всякий, кто разделяет людей, называя их орыс, или казах, или емис, нарушает учение пророка и берет на свою душу великий грех.

Дело было после того, как в колхозе отпировали по случаю пяти усыновлений и одного удочерения, и страсти, связанные с этим, мало-помалу улеглись. На хирмане[1] своим чередом шла работа, и, пользуясь тем, что только что пролился, взбрызнул землю короткий слепой дождь, люди отдыхали, настроенные самым благодушным образом.

– Благословенный дед мой говаривал, – продолжал Ахмет, – что сам слышал в старину эту историю от мудрых людей... – Он вытянул из-за голенища отороченную серебром роговую шакшу[1], положил в рот щепоть насыбая[2]. И помедлил немного, покручивая усы и расчесывая пальцами бороду. – Поначалу сотворено было небо, голубое, без единого пятнышка, потом земля, черная, без единой морщинки. Потом из неба родилась туча, окропила землю, выросли цветы, зеленые травы, густые леса и деревья, дающие плоды. Дикие звери заселили поля и леса, а чтобы ими управлять и властвовать, создан был человек. И приручил он диких зверей, обратил их в домашних животных, а по просторным степям раскинул свои кочевья. Не было в те времена ни вражды между людьми, ни разделения на своих и чужих. Все жили в достатке и веселье. Потому что те, первые люди, знали, что все они – братья, дети одного отца...

– Неправильные это мысли... Неправильные и даже вредные, – заметил Дауренбек. Он был здесь самым грамотным и поэтому считал, что он более компетентен – о прошлом ли заходила речь, или о настоящем. – Все мы произошли от обезьян.

– Пустые слова, светик мой, – сказал Ахмет. – Благословенный дед мой рассказы-

[1] Хирман – ток

[1] Шакша – табакерка

[2] Насыбай – особым способом приготовленный табак, закладываемый за губу

вал, что дальний наш предок – сивый волк. Но в Коране об этом тоже ничего не написано. Там написано, что все люди на земле пошли от отца Адама и матери Хауы[1]. Слышал я, даже самые ученые русские муллы с этим согласны. От отца Адама родились Абиль и Кабыл[2]. Потом Кабыл...

– Все это – религия и дурман, – резко оборвал Дауренбек. – По науке, предки у нас – обезьяны. И не одна обезьяна, а много обезьян.

Знающие нрав Ахмета ожидали, что загорится ссора, вспыхнет скандал. Но ничего такого не случилось.

– Каждый о своем предке говорит, – добродушно рассмеялся Ахмет. Кончиком языка он собрал в комок насыбай, сбившийся под нижней губой, и, отвернувшись, сплюнул.

Все рассмеялись.

– Ничего не понимаете в науке, а спорите, – побледнел Дауренбек.

Строг он был, счетовод Дауренбек, и почти всегда сердит, чем-то недоволен... Люди затаили дыхание.

– Может быть, сынок, ты и прав, – сказал Ахмет, кивнув головой. – Мы люди неученые, темные... Может быть, как ты говоришь, мы и родились от обезьян, а может быть, как написано в Коране, все мы – потомки одного предка, отца Адама. Кто знает... Если верить моему деду, который дожил до девяноста семи лет, то предки у казахов – сивые волки, а у других народов – разные прочие звери. Сам никто ничего не видел, одни догадки... Только ведь и по твоей науке такого не получается, будто одни люди хуже других: скажем, русские хуже казахов, а немцы хуже русских. Нет, и по науке такое не получается... Ведь обличье – это вроде бы занавеска, скрывающая нутро. Вот и надо про нутро говорить. Как сердце стучит, к чему душа лежит – на это, сынок, смотреть следует.

– У русского народа есть пословица, – сказал Дауренбек. – Сколько волка ни корми, а он все в лес смотрит.

– На моего сына намекаешь, – отозвался старик, – только не к месту. Еще увидим, в какой лес будет смотреть мой сын. – Он спрятал за голенище сапога пустую чашку, обошедшую всех любителей насыбая. – Все равно сидим, пока хирман подсохнет... Послушайте-ка, что я вам расскажу... Наверное, все вы слышали об Айбасе, предке моем в восьмом колене. Знаменитым он был батыром, не раз становился во главе войска, во многих походах участвовал. Однажды, воюя с белыми калмыками, понесли наши большие потери. В те времена для каждого мужчины завидной судьбой считалось погибнуть от руки врага, сражаясь лицом к лицу; по тем, кто погибал, носили траур, но слез пустых не проливали. И все же, когда у одного человека... Не скажу – у кого, может быть, у родича батыра, может, у почитаемого ансакала... Короче, когда у одного уважаемого человека все пятеро сыновей разом от вражеских стрел погибают, такое вынести нелегко. И отцу особенно. Пришел батыр Айбас посочувствовать отцовскому горю, а

[1] Хауа – Ева

[2] Абиль и Кабыл – Авель и Каин

аксакал тот и говорит: «Пятеро сыновей моих погибли в бою, пятеро шахидов[1] ... Духи предков гордятся ими, я не плачу, не проклинаю свою участь. Но все они молоды были, мои сыновья, никто не успел из них оставить после себя наследника семейной чести, продолжателя рода. Когда я умру, погаснет дым моей юрты, упадет мой шанырак[2] ... Вот над чем я плачу, подумал ли ты об этом?» «Подумал», – ответил батыр Айбас. «А если так, садись на коня, по обычаю предков: тебе погибель не страшна, у тебя за спиной – сын...» И снова собрал батыр свое поредевшее войско и после нескольких дней похода снова напал на врага, упоенного недавней победой. И кололи его, и рубили, и преследовали воины Айбаса, пока не прогнали за Алтай. На добро, на скотину Айбас и не смотрел: добычей для него стали только дети, ростом не достигшие ступицы колеса. Как их раздали, кому они достались, когда вернулся батыр из похода, не знаю. Зато известно, что потомки пяти мальчиков, приведенных вместо пяти сыновей шахидов, пустили корни, каждый зажил своим домом, и долго жили они в богатстве и благоденствии... А их потомки не дали сгинуть роду своему даже после годов великих бедствий.

Опираясь на рукоять кнутчи, Ахмет поднялся с места.

– Где же они? В каком колхозе, Ахмет-ага?.. – с любопытством заговорили вокруг.

[1] Шахид – павший за правую веру, за родину

[2] Шанырак – деревянный круг на верхушке юрты; в переносном значении: семья, потомство

– Да у нас же, в нашем колхозе, – усмехнулся Ахмет.

– Аксакал шутит...

– Что мне шутить?.. Потомки тех пятерых, занявших место погибших, сидят и сейчас между нами, – Ахмет направился к своему коню, взобрался в седло. – Не дай бог, скотина забрела на посевы... Мне бригадир голову снимет. Поеду посмотрю...

Перед тем как пришпорить лошадь, он обернулся:

– А вы приглядитесь хорошенько друг к другу. Может, что и заметите.

Ахмет стащил с головы тымак, тряхнул его, сметая осевшую на току пыль, надел снова и, смеясь от души, поскакал галопом в сторону поля.

Были мужчины на току, были женщины; были молодые, были старые; кто сидел, поджав ноги, на подстилке из соломы, кто полулежал, выдавив боком ямку в сыпучем валу пшеницы, кто попросту опустился на корточки, но в тот миг каждый замер в той позе, в какой застали его последние слова Ахмета, и только глаза с торопливой подозрительностью скользили по лицам оказавшихся рядом или напротив. А вдруг и в самом деле обнаружится непривычная, чужая линия, складочка, черточка?.. Но спустя минуту или две ни у кого не осталось и малого сомнения в том, что все работавшие на току – чистокровные казахи.

– Аксакал Ахмет разыграл нас, – сказал кто-то.

И тут началось... Одни захлебывался от

смеха, другой стонал, вытирая слезы, третий уже хрипел, не в силах удержать хохот. Все смеялись, пока не раздался сердитый окрик Дауренбека:

– Довольно сидеть, пора за работу браться.

И в чем-чем, а в этом счетовод Дауренбек был прав. Пора... Кто с метлой, кто с лопатой – все разошлись по своим местам. Впрочем, смех долго еще слышался кругом.

* * *

«А все-таки, Ахмет, по какой причине выбрал ты этого мальчика?» – могли бы спросить у Ахмета его сверстники-аксакалы.

И что бы он им ответил?

«Сам не знаю, – ответил бы Ахмет. – Правду говоря, думал я поначалу о братьях казашатах. Но жалко стало мне их разлучать. К тому же старший показался мне слишком большим. Трудно такому забыть свою семью, привыкнуть к новой...»

«Так ведь были там и другие?»

«Были, это верно... Только приглянулся мне этот Зекен».

«И все-таки...»

«Все они были для меня одинаковы, – сказал бы Ахмет. – Но среди других сирот он... как бы сказать... был самым большим сиротой. Вот и взяла меня жалость...»

Вскоре он только и говорил, что о своем новом сыне.

– До чего понятливый пострелёнок! – хвастался он. – До чего сообразительный!.. Но в школу пока ему рано. Прежде пускай по-нашему разговаривать научится. Иначе как бы не почувствовал себя обделенным судьбой или чужаком среди прочих детей...

– Верьте не верьте, – рассказывал он в другом случае, закладывая под язык новую порцию насыбая, – верьте не верьте, а есть у него что-то в роду от казахов. Уж очень лошадей любит. Вроде бы еще и зада от переда отличить не может, а все возле моего рыжего вертится. Такой непоседа...

– Воистину от родного сына не отличу, – радовался Ахмет, беседуя с третьими. – Только в первые дни робел, а сейчас... Да что про нас со старухой толковать, он ко всему нашему аулу сердцем привязался...

Люди с одобрением кивали, слушая Ахмета, но дети признали Зигфрида своим не сразу. Долго не подходили они к нему, не принимали в свои игры. Он был для них чужаком. И только в присутствии Ахмета держались к Зигфриду поближе, не обижали, даже могли подарить асык[1], например, или что-нибудь еще из своих бесценных мальчишеских пустячков, но все как-то не от души...

Что ж, он был не злопамятен и в компанию не напрашивался – играл себе один. Вывернет наизнанку Ахметов тымак, нахлобучит на голову, оседлает вместо коня гибкую лозину – и с утра до вечера носится возле дома. Покажется невдалеке какой-нибудь мальчуган – Зигфрид позовет его, помашет рукой. Тот и взгляда, бывало, не кинет в его сторону, пробежит мимо, а

[1] Асык – альчик

Зигфрид летит за ним следом... Впрочем, от дома особенно не удаляется.

Но с тех пор как он начал мало-мальски болтать по-казахски, аульные ребята к нему, казалось, потеплели. Случалось, и домой стали забегать. Только кто знает, что их притягивало: то ли сам Зекен, то ли чашка, наполненная до краев маслянистой жареной пшеницей, которую здесь неизменно выставляли перед гостями, то ли, наконец, жеребец Жирен-Каска, за которым ходила слава непревзойденного скакуна.

Зигфрид бывал рад каждому гостю. После того как у чашки с пшеницей обнажалось дно, он снимал подвешенную к изголовью деревянной кровати продолговатую торбу, сшитую из козьей шкуры, и все содержимое вытряхивал на землю. Было, было и у него чем похвастать! Ахмет специально собрал все эти асыки, разъезжая по дворам, и самолично выкрасил – травяным корнем, густой хной – в желтые, с веселой рыжинкой, и в темные, кроваво-красные. А бабки от ног архара, дикого барана, пролежавшие столько лет в уголке сундука и наконец извлеченные оттуда! Крупные, коричневые, отполированные мальчишечьими пальцами!.. У кого не разбегутся, не зажмурятся глаза при виде таких сокровищ!

– И у меня асыки есть, – говорит гость, проводя кончиком языка по пересохшим от волнения губам.

– Жахсы, – отвечает Зигфрид. – Хорошо.

Вместо гортанного казахского «к» он мягко выдыхает «х». Зная, что за ним водится такой недостаток, он избегает этого звука, но ему это

удается далеко не всегда. Остальные звуки он произносит сносно, включая и те, которые усвоил впервые. Ну а гортанное «н» ему до того нравится, что Зигфрид употребляет его к месту и не к месту.

– Хавша асх сенки?

Но гость молчит. Ему явно не под силу сосчитать, сколько у него асыков.

– Много, – после некоторого раздумья произносит он.

– Жахсы, – одобряет Зигфрид. И, вызывая у старой жены Ахмета улыбку своим акцентом, забавным для ее непривычного слуха, торопится поведать о собственных несметных богатствах. – У меня тоже... тоже много... У меня сорок... сорок... Сколько у меня, апа[1]?

– Сорок девять, солнышко.

– У меня сорок девять асыков!

– И у меня сорок девять асыков, – не слишком уверенно повторяет гость, полагаясь на свою догадку, что «сорок девять» – это и есть «много».

– Жахсы... Жахсы... – похлопывает Зигфрид его по спине. – А кулжа у тебя есть?

Гость молчит, чтобы не сказать неправды...

– Кулжа... От архара, знаешь?

– Кулжа... Я тожа найду себе кулжу... – не желая сдаваться, бормочет гость.

– Это кулжа моего старшего брата... Нарым... бета.... – запинаясь, произносит еще не вполне освоенное имя Зигфрид. – Он мне ее оставил... Его на войне убили. Трех моих старших братьев на войне убили. А у тебя сколько братьев убили?

[1] Апа – мама

– Мой старший брат еще... тири, – говорит мальчик.

– Тири?.. Ала, что это – тири?..

– Значит, не умер, айналайын. Значит, живой, где-то ходит.

– О-о!.. А мой умер, моего убили! – с торжеством восклицает Зигфрид.

Гость в смущении помалкивает, признавая свое поражение.

– На войне моих братьев убили... Кто убил, апа?

– Керман[1], солнышко.

– Керман убил на войне моих братьев!

– И моего старшего убьют, – не в силах дальше выносить такое унижение, обещает гость. – Его завтра убьют.

– Все равно, – не желает уступать Зигфрид, – у тебя брат живой, а моих убили. – И выставляет растопырку три пальца. – Калим-бет... Жолыа-бет... Нарым-бет... – При каждом имени он загибает один палец, сначала большой, потом указательный и в конце – средний. – Теперь я один. – Вместо трех загнутых пальцев Зигфрид выставляет мизинец. – Это я. А буду... – Он разгибает большой. – Вот я какой буду, отец сказал!

Но не всегда встречи с аульными детьми были столь мирными. Особенно вначале, когда ребята, спрятавшись под обрывистым берегом реки, обстреливали комками сухого конского помета Зигфрида, игравшего в одиночестве неподалеку, возле своей юрты. Пока кто-то выскочит ему на выручку, обидчики успевали нырнуть в кусты. Однажды, улучив момент, когда Зигфрид отошел от дома, на него натравили щенка. В другой раз, когда он побежал к своим сверстникам, барахтавшимся в речке, его схватили, вымазали илом лицо и так отпустили.

[1] Керман – Германия (искаженное)

Не на шутку рассердился Ахмет, увидев чумазого, облепленного грязью Зигфрида, ревущего благим матом... Одни залитые слезами глаза блестели на его похожем на маску лице. Ахмет вскочил на коня и, подхватив Зигфрида, усадил перед собой. Озорники то ли не ждали такого скорого возмездия, то ли, как обычно, рассчитывали на полную свою безнаказанность и по-прежнему весело плескались в воде. Завидев Ахмета, они кинулись врассыпную. А точнее – на противоположный берег. Но дальше растущего здесь тальника убежать не смогли: вся их одежда осталась там, где они купались и учиняли свою экзекуцию...

Впрочем, они бы и голышом задали стрекача, вздумай Ахмет перебраться через мелкую речку. Но он придержал коня у самой воды.

– Эй, – крикнул он, – босоногие!.. Знаете вы, над кем измываетесь? Над моим сыном! Над младшим братом Нарымбета!.. – Он назвал по имени трех ребят постарше и поманил к себе. – Смойте с Зекена грязь. Научите его плавать. – И, не дожидаясь ответа, опустил Зигфрида на землю. – Иди играй. – А сам, повернув коня, поехал шагом не оборачиваясь.

И вышло так, что с того дня никто из ребят больше не сторонился Зигфрида. Сам же он был ненасытен в играх. Целые дни, с утра до вечера, проводил на берегу, резвился в воде, возводил

из песка крепостные стены и башни, строил из глины дома, из камыша мастерил лодку, заменяя парус зеленым листом лопуха. И плоские камешки, влажно сверкавшие на солнце, пускал он, рассекая гладкую поверхность воды, и носился по густой, пружинящей под голой пяткой траве-мураве, играя в догонялки. Лишь на закате Зигфрид возвращался домой и замертво валялся на подушку.

Вскоре он превратился в такого же мальчугана, как и его теперешние товарищи, до черноты загорелые, бритоголовые, с ногами, покрытыми ссадинами и цыпками. Но вместе с тем в облике Зигфрида что-то выделяло его среди аульной детворы, то ли яркие синие глаза, то ли светлые брови и ресницы. Однако к нему привыкли, он уже не выглядел в ауле чужаком. И к языку, который слышал вокруг, постепенно приобщился. Теперь у него здесь были не только друзья, обнаружились вдруг даже кровные родственники – до шестого, до седьмого колена. Люди постарше, например, отыскивали в нем явное сходство с Нарымбетом. Нашлись и такие, кто тут же и объяснили столь удивительный факт, говоря, что брат Нарымбета, старший сын Ахмета – Келимбет, на войне якобы женился на немке, и таким-то вот образом родился Зигфрид... Впрочем, для него самого эти слухи и догадки не имели значения. Важно было, что он был признан полноправным гражданином ребячьей республики, где все имели равную возможность выбирать и свергать хана, участвовать в азартных потасовках и играть в «Айголек»...

Но игры продолжались недолго. В начале сентября общие заботы захватили и подростков-школьников, и тех, кто по годам еще явно не годился для работы в поле... Малыши липнулись своих заводил и главарей, Зигфрид оказался среди них старшим. К тому же похолодало, никого не тянуло на речку, даже всыки прискучили... Зигфрид нашел для себя новую забаву.

С первых же дней жизни в ауле он пристрастился ездить на коне, усевшись впереди Ахмета, а теперь и вовсе сделался заядлым лошадником. Да и Ахмет при любой возможности брал его с собой. На хирман ли направиться, пригнать ли скотину, соседей ли навестить – оба восседают на рыжем, старый да малый. Бывало, Ахмет спешится по своим делам, а Зигфрид с важным видом дожидается его в седле. Поначалу он, правда, и выпустить из рук боялся луку седла: как вцепится, так и не разожмет пальцев, но постепенно привык держать повод и самостоятельно править лошадью. Зигфрид не был, понятно, таким лихим наездником, как многие из его сверстников, которые уже в два-три года освоили ашамай – специальное детское седло – и чуть ли не выросли, не слезая с коня, но смирный по натуре Жирен-Каска охотно подчинялся мальчику. Зигфрид сам водил его на водопой, выгонял в степь, умудрялся порой даже слегка порысить на нем. Несмотря на ворчанье жены, Ахмет начал посылать Зигфрида сторожить поле, не подпускать к нему случайно забредающую скотину. «Пусть привыкает к верховой езде, – сказал Ахмет. – Самая большая беда – упадет. Ну и что? Нет казака,

который бы с лошади не падал. И нет казаха, который от этого бы умер».

Тем не менее прежде чем подсадить в седло Зигфрида, Ахмет и затянет покрепче подпругу на рыжем, и несколько раз повторит свои наставления — как поступать и чего остерегаться. А стоило Зигфриду где-нибудь задержаться, и он отправлялся на поиски пешком. Словом, хлопот в его жизни прибавилось. Но не к досаде, а к радости... Наконец он добился своего: Зигфрид обучился ездить верхом. В седле он держался свободно, подражая Ахмету, и так же, как он, слегка заваливался при этом на правый бок и сидел небрежно, в позе бывалого наездника. А когда конь шел рысью, старался не подскакивать, сидеть в седле как влитой. И быстрой езды уже не боялся, и не екало у него сердце ни на обрывистых спусках, ни на крутых подъемах.

Ночами Ахмет выпасал на пастбище рабочий скот, и днем ему не удавалось отдохнуть. Его обязанностью было охранять засеянное пшеницей колхозное поле. Рядом бродили не знавшие узды жеребята, а иной раз и отпущенные на недолгий отдых жеребцы и кобылы. Имелись в ауле и коровы, которых в прошлом казахи не признавали за достойную внимания скотину и оценили только теперь, в худые годы. Но именно с них, с этих добрых и смирных животных, начались для Ахмета все беды.

И всего-то было их десять или пятнадцать, о чем бы, казалось, говорить?.. Под утро вернется Ахмет из ночного, пригонит в аул рабочую скотину, отведет подоенных только что вульных коровенок на пастбище пораньше и наконец-то

возвращается к себе домой, но только разденется, только облачится в домашнюю одежду, только сядет за чай — бежит жена: глаз у нее острый, она и чай мужу подливает, и во двор то и дело выскакивает — за полем приглядеть. И вот едва пригубит Ахмет пиалу, а она уже тут как тут, кричит, стоя на пороге:

— Ойбай[1], отец Наиена!.. Ойбай, отец Зекена[2]! Коровы на поле идут...

— Аф-ф, сопатая, чтоб тебе... — И Ахмет, чертыхаясь, снова взбирается на лошадь.

А коровы уже у речки, а над речкой колосится пшеница. И, понятное дело, пока доберется туда Ахмет, коровы отведают лакомого зерна...

— Эй, — рявкает он, — назад! Кому говорю!..

Коровы слышат издали его голос и повинуются приказу. Лучше, знают они, не связываться с неугомонным стариком... И волей-неволей отступают назад, поворачиваются и бредут к себе на пастбище. Но не все. Те, что поглупее, упрямятся — и стоят, будто к земле приросли копытами, ни взад ни вперед, и только покачиваются, поводят боками и шумно дышат, исходя слюной, не в силах покинуть поле, такое манящее, близкое и запретное... И так до тех пор, пока не прискачет Ахмет.

Но с коровами он обходится деликатно, не бьет, не гонит что есть мочи — от этого может пропасть молоко. Ахмет не спеша заворачивает их к пастбищу, только теперь уводит ещё

[1] Ойбай — возглас при выражении испуга, страха

[2] По обычаю, в прошлом жена не называла мужа по имени

дальше... Все равно. Часа не пройдет – и коровы снова, возбужденно мыча, движутся к полю... О господи!.. Ночи Ахмет проводит среди волов, которые днем тянут соху; и среди верблюдов, на которых возят зерно; и среди лошадей, впрягаемых в лобогрейку; и среди жеребят-стригунков, для которых всегда отыщется работа на хирмане, – всего-то что мельком соснет прямо в седле или вздремнет на земле, завернувшись в тулуп... А днем тело и душу ему выматывают эти коровы!..

Зато с того времени, как Зигфрид стал привыкать к коню, Ахмет почувствовал некоторое облегчение.

С утра Зекен уже в седле, а сам Ахмет благодушествует, чаек попивает, иной раз умудрится и всхрапнуть час-другой. Если нужно, Зекен поскачет галопом, проверит, в какой стороне пасется стадо, все ли в порядке. Доволен Ахмет, словно неба макушкой коснулся. И не слушает постоянных попреков старухи: как бы чего не стряслось, как бы какой беды на мальчика не накликать... Да в такие годы уже и в байге на сорок километров участвуют! В такие годы Ахмет уже до самой Кояндинской ярмарки скот помогал перегонять! Мал еще Зекен?.. Ничего, так он скорее настоящим джигитом станет!..

Но однажды, когда Ахмет вот так блаженствовал, Зигфрид и в самом деле нарвался на беду. И не только Зигфрид...

Обычно Ахмет наказывал ему присматривать за коровами, а при нужде скакать за помощью домой. Но то ли забыл Зигфрид об этом наказе, то ли решил в ребяческом задоре со всем

справиться сам, – как бы то ни было, заметив, что стадо направляется к полю, мальчик хлестнул рыжего жеребца и помчался наперерез. Коровы и не подумали отступать перед всадником с тоненьким голоском и куцехвостой камчой. Степенные животные, мыча и помахивая хвостами, упрямо двигались напролом. И только-только успевал он завернуть одну корову, как вперед устремлялась вторая; он торопился к ней – третья преграждала ему путь, становясь поперек. В конце концов все стадо скопом, вместе с выбившимся из последних сил Зигфридом, вклинилось в поле колосящейся пшеницы. Тутто и застиг его Дауренбек...

Счетовод возвращался от бригады, работавшей в поле на жнейках. Увидев смятые, истоптанные колосья, коров, жадно накинувшихся на поспевающую пшеницу, он пришел в неистовый гнев, но всю свою вполне справедливую ярость обрушил почему-то на Жирен-Каску. Огрев камчой коня по крупу, он погнал его перед собой, не обращая внимания на отчаянные крики Зигфрида.

Услышав топот четырех пар копыт и пронзительный вопль «Аттан! Аттан!»[1], из юрты выбежал насмерть перепуганный Ахмет. Завидев Дауренбека, преследующего Зигфрида по пятам, да еще с камчой, занесенной над головой мальчика, он, не мешкая ни секунды, тоже закричал и кинулся за соилом[2]. Жирен-Каска, храпя, уже уперся грудью в коновязь. Дауренбек же при виде увесистой дубины в руках Ахмета хлест-

[1] Аттан – древний воинственный клич «По коням!»

[2] Соил – дубина с утолщением на конце

нул своего коня и повернул назад. Иначе – чем черт не шутит! – старик бы вышиб его из седла... Ахмет, казалось, даже не взглянул на перепуганного Зигфрида, который кубарем скатился с коня. Волоча за собой сойл, он тут же хотел вскочить на Жирен-Каску и мчаться вдогонку за обидчиком... И Ахмет так бы и поступил, если бы не жена...

Вечером оба – Ахмет и Дауренбек – стояли перед баскармой.

– Ты не меня – должность мою колхозную не уважаешь! – кричал Дауренбек. – Какое право имеешь сойлом размахивать? Ты на кого это замахиваешься, а? На меня или на власть нашу?..

– Ты моего сыночка хотел камчой ударить... Он тебе кто – сирота, за которого некому заступиться?.. Я ему отец, я над ним измываться не позволю! – твердил Ахмет.

– Этот стервец нарочно хотел стравить коровам наши посевы! – брызгал слюной Дауренбек. – Я сам видел!..

– Аллах всемогущий! – Ахмет ухватился рукой за ворот и сел. Не найдясь, что ответить, он только зацокал языком, закачал головой.

– Да, видел! – продолжал наступать Дауренбек. – А что тут удивляться? Немец есть немец. Кто войну зажег? Кто трех твоих сыновей жизни лишил?..

– Не оскверняй моих детей своими погаными устами! – оборвал Ахмет. Голос его был негромок, но суров.

Дауренбек почувствовал свой перевес.

– Немец есть немец, да!.. – повторил он свои прежние слова. – Я их... Я за два года вот этими глазами насмотрелся такого, что на всю жизнь запомнил! И не позволю!..

– Ты про кого говоришь? Или совсем разума лишился? Он ведь мальчик еще...

– А кто у него отец? Это ты знаешь?..

– Не знаю и знать не хочу!

– А я знаю... Знаю, кто ты есть на самом деле! Укрыватель – вот кто! Ты... ты...

– А ты – настоящий зверь!..

Не вмешайся в этот момент баскарма, камча обвилась бы, наверное, вокруг головы Дауренбека...

Пришлось обоим сделать строгое внушение. И тот, и другой были виноваты. Ахмет согласился, что недосмотрел за стадом, а Дауренбек под грозным взглядом баскармы попросил у старика прощения за обидные слова.

– Погорячился, – сказал он, – испортил кровь на фронте. Не могу держать себя в руках...

– Слово – как стрела, назад не возвращается, – сказал Ахмет. – Ты замахнулся на мальчика, который стал мне сыном. – Он так и не принял у Дауренбека извинения и сам тоже не попросил.

Тем не менее они разошлись в тот вечер вроде бы примиренными.

А спустя несколько дней в аул нагрянули люди с красными петлицами на вороте. Кто-то со стороны указал им на Ахмета. Якобы порочит он честных советских людей, в том числе самого председателя, распуская слухи, что среди его предков были враги казахского народа, и вооб-

ще высказывает суждения, подрывающие дружбу народов, разводит враждебную агитацию, вносит смуту в ряды тружеников тыла. И еще – что под именем Зекена укрывает у себя некоего Зигфрида Вагнера, не ясно, а пожалуй, даже и ясно, в каких целях... Разумеется, ни баснарма, ни остальные аулчане не подтвердили того, что Ахмет ведет враждебную агитацию, вносит смуту и т. д. А приехавшие самолично увидели, кто такой Зекен, он же Зигфрид Вагнер. Но для окончательного выяснения некоторых обстоятельств, уезжая, захватили Ахмета с собой.

Вернулся он через неделю, полностью освобожденный от всех обвинений. Говорят, что подсобил какой-то районный начальник, который учился вместе с Келимбетом, старшим сыном Ахмета. Что даже наругал и предупредил, чтобы старик научился не болтать. И чтобы избавился от злополучного мальчугана. Ахмет, хоть и пообещал держать язык за зубами, но от сына не отрекся. Старуха и вся родня были безмерно рады возвращению. Однако в деле с Зигфридом, как сказал сам Ахмет, надо было дождаться законного решения.

Немного спустя из района прибыл специальный уполномоченный, и тут оказалось, что отец Зигфрида – немец по национальности – служил командиром в Красной Армии и погиб в далекой стране Испании, сражаясь с фашистами. В сорок же втором году, когда у Зигфрида умерла мать, мальчика взяли в детдом. Обо всем этом рассказал председатель после отъезда уполномоченного.

– Алыр-ай[1], – говорил люд, считавший, что фашист это и есть немец, – выходит, что немцы воюют и с немцами. Или отец Зигфрида не был немцем?..

Нет, все-таки он был немцем, – отвечали им. И именно поэтому Зигфриду Вагнеру нельзя оставаться в этом ауле. В «Кызыл ту» (колхоз, что в низине) должны переселить немцев, и Зигфрид должен переехать туда. Если Ахмет Бегимбетов решит переехать вместе с ним, то возражений не будет.

Очень скоро Ахмет со всеми своими пожитками и живностью переехал в нижний колхоз.

ПРИТОК ВТОРОЙ. НАРТАЙ И ЕРТАЙ

Все, что происходило с ним теперь, у Нартая рождало сомнение. Он ничему не верил. Не верил, и при этом все-таки надеялся...

Человек по имени Тлеубай, который назвался его отцом, то вел Нартая за руку, то, несмотря на явное недовольство мальчика, подхватывал и сажал к себе на плечо. Пока они таким образом дошли до аула, расположенного за гребнем холма, он успел рассказать многое. По его словам, он не знал до сих пор, где находится его пропавший сын. Разве иначе он бы не отыскал Нартая раньше? Но все кончилось хорошо, сынок сам к нему вернулся. И он, отец, едва не заплакал от радости, когда увидел своего Нартая...

А как же борода? У отца Нартая не было бороды, одни усы... Правильно, одни усы. То есть

[1] Алыр-ай – боже мой

сначала были одни усы, а уже потом выросла и борода. Ведь как всегда случается? Сначала – ничего, ни бороды, ни усов, потом пробиваются усы, а после них – борода. Верно? Если Нартай захочет, они сейчас придут домой и он сбреет бороду – тогда станет ясно, что перед Нартаем его куке[1]...

– Мой куке был молодым...

Вот как, молодым? Так ведь он тоже был молодым, да вот постарел, пока жил в этом ауле. Много работал, вот и постарел. А главное – от горя постарел. Это ведь большое горе – потерять единственного сыночка!.. Но теперь он отыскался, его сынок. И он помолодеет. Снова помолодеет...

Нартай поверил, не смог не поверить таким убедительным доводам. И ему внезапно захотелось заплакать. Он потянулся, обхватил руками Тлеубая за шею... Но в ноздри Нартаю ударил острый и едкий запах пота. Он отстранился, только дал поцеловать себя в лоб.

Борода и усы приятно покалывали, щекотали щеку. Но Нартай не улыбнулся даже. Вдруг ему вспомнился Ертай. И как он плакал. Как они вместе плакали. Как младший брат не хотел расставаться с ним и крепко обнял его, вцепился обеими ручонками... А потом – как он сам бежал за ним, за своим братом, которого уносил на плече незнакомый человек с закрученными кверху черными усами и деревянной ногой. И Ертай колотился у того в руках и все голоса заглушал неистовым ревом...

[1] Куке – папа

Потом кто-то схватил его самого и отдал этому бородатому...

– Ертай – мой братик, – сказал он.

– Правильно, айналайын, – ответил бородатый. По его лицу бежали слезы.

– Ертай маленький, без меня его другие мальчишки поймают и отлупят.

– Нет, – сказал бородатый, – никто его не станет бить...

– Почему ты Ертая тоже не взял?..

– У него нашелся свой отец...

Снова Нартая охватили сомнения.

– Он мой родной братик, – сказал Нартай, – и у нас один отец. – Он уже не плакал.

– Что же теперь делать? – сказал бородатый. – Ты сам видел, я хотел его взять. А мне вот не дали. Еще хорошо, что тебя со мной отпустили. Могли не пустить... – Нартай промолчал. – И на этом спасибо, – сказал бородатый. – Что бы я делал, если бы тебя другому отдали, а?..

«И правда, – подумал Нартай. – Что, если бы кто-то другой меня унес. Хорошо, что куке... Что этот бородатый, чей-то куке... взял меня...»

– Ну, вот, мы к себе в аул пришли, домой, – сказал бородатый.

Оказалось, аул – это всего-навсего юрта на краю длинного оврага. Перед юртой пощипывает травку тонконогий жеребенок на привязи, неподалеку пасется бурый теленок и несколько белошерстных ягнят и козлят. В точности как в книжке на картинке. «Мо-о-о!.. Ме-е-е!..» Но ни теленок, ни ягнята с козлятами не захотели ответить Нартаю: «Мо-о-о!.. Ме-е-е!..» Даже головы не повернули ему навстречу. Зато из юрты

вышла женщина. Тоже немолодая. Что-то белое покрывало сверху ее голову, захватывая плечи и спину. Как у той старухи, которую Нартай видел недавно. Тогда он спросил, что это за странный платок. «Кимешек-шаршы, – сказала та. – Кимешек-шаршы...» Женщина в кимешек-шаршы, заслонясь ладонью от солнца, постояла немного у входа, пригляделась и двинулась к ним. Не знает, не видел он раньше этой женщины... Да и она его – тоже. «Господи, да он мусульманин!» – сказала она. И потом: «Да еще и казах, светик мой!» Схватила Нартая в охапку, к груди прижала и – в слезы. Плачет и приговаривает, будто песню поет: «Единственный ты мой, единственный!..» «Это кто же ее единственный?» – подумал Нартай. Все лицо у него стало мокрым от ее слез. Даже подбородок, даже на шее стало мокро. И в рот слезы попали. Соленые, горькие... Нартай сплюнул.

Бородатый поднял Нартая на руки и прошел в юрту. Женщина принесла высокий кувшин с изогнутым носиком и полила бородатому. Все трое помылись. Потом посередине юрты поставили круглый приземистый стол, женщина, позвякивая посудой, принялась готовить чай.

– Почему аже[1] плакала? Кто ее единственный? – улучив момент, спросил Нартай шепотом.

– Это про тебя. Она радуется, что ты нашелся.

Нартай не понял:

– Аже – кто? Наша родственница?

– Да, – сказал бородатый, – она твоя мама.

[1] Аже - бабушка

– Моя мать умерла, – сказал Нартай.

– Нет, она живая, – возразил бородатый. – Кто умер, тот по земле не ходит. А она – ходит, она живая, ты ведь сам видишь. Она живая?

– Живая...

– Ну вот, это... это твоя мама.

– Она живая... Она не моя мать! Моя – умерла. Я видел, как ее зарыли, – сказал Нартай.

– Понимаешь, она, оказывается, тогда не умерла, – подумав, объяснил бородатый. – Я ее сам откопал. И с тех пор она живая. Погляди сам. Если бы она была мертвая, разве она бы ходила по земле?

Это правда. Неживой, то есть мертвый, лежит и не двигается. И мать его лежала и не двигалась. Он не забыл... Хотя две зимы прошло с той поры.

– Ты сам спроси, если хочешь, живая ли она, – сказал бородатый.

– Апа, ты живая? – спросил Нартай.

– Что он говорит?

– Спрашивает, живая ли ты.

– Живая, светик мой, живая. Здоровье у меня еще хорошее, благодарение богу. Ешь иримшик, айналайын. И сметанку, сметанку бери...

– Ты больше не умрешь?

– Не умру, жеребеночек мой, не умру. Ты теперь со мной, чего же мне умирать? Не умру.

Нартай задумался – верить или не верить?

– Пшеницы у нас нет, айналайын. Ну, теперь-то уж твой отец ее найдет и домой принесет. Пускай только урожай уберут и зерно на

хирман ссыплют. Все у нас будет... Ешь, айналайын, курт ешь.

Но Нартай не притронулся ни к иримшику, ни к курту. И окажись на столе хлеб, он бы и его не коснулся.

– Ты когда из Алматы приехала? – спросил он вдруг.

– Ойбай, светик мой, какой Алматы?.. Я и Нарына, до которого рукой подать, еще не видела...

– Не говори чепухи, – оборвал жену Тлеубай.

– Ты не моя мать, – сказал Нартай. – Ты – живая. И старая. А моя мать была молодая. Она умерла. Она там, в Алмате, на горе лежит. Ее туда отнесли и в могилу закопали.

Не дождавшись конца чаепития, бородатый встал и ушел. Нартай тоже поднялся со своего места. Старуха попыталась обнять его, но мальчик рванулся из ее рук и вышел из юрты.

Было жарко, Нартай присел в тени, которую отбрасывало нехитрое степное жилище. Таких нет в городе, там, где жил он до сих пор... Он задумался, не обращая внимания на косматого пса, который растянулся рядом, лениво высунув из пасти влажный язык. Пес тоже не проявлял к нему любопытства. Он только приподнял голову, лежавшую между лап, и сонными глазами посмотрел Нартаю в спину, когда тот поднялся и зашагал к видневшейся неподалеку сопке. По ее склону пестрыми пятнышками рассыпалось стадо. Если хорошо приглядеться, каждое пятнышко – это корова. Вблизи, наверное, большая, а с такого расстояния – маленькая. Будь

она и вблизи маленькая, ее бы и совсем не увидеть. Если бы там, на сопке, сейчас оказался Ертай, его бы тоже не было видно... И все равно Нартай его найдет, хотя пока не знает, где искать. Наверное, он в таком же ауле. В такой же юрте... А вдруг в той юрте рядом с Ертаем сидит их мать? Живая?.. Нет. Кто умер, того закопают, засыплют сверху – чтобы никогда не поднялся. Из могилы никто не выходит, никто... А Ертай, может быть, все еще плачет. Хоть бы там, где он теперь, тоже были ягнята и козлята. Он бы играл с ними и не плакал...

Нартай и сам не прочь был поиграть. Осторожно подошел-подкрался он к бурому теленку, мирно щипавшему травку возле юрты, и сделал попытку вскарабкаться на него. Не тут-то было! Теленок замотал головой, взбрыкнул задними ногами, и Нартай плюхнулся на землю. Из юрты выбежала аже, заохала, бросилась к Нартаю. А тот поймал теленка и снова попытался взобраться на него. И опять свалился, в кровь ободрав кожу на локте. Но не заплакал, а рассмеялся, не желая показывать перед аже, как ему больно. Он пробовал оседлать ягненка, затем козленка. Они вели себя смирно, только удержать его на себе им было не под силу. На жеребенка бы влезть... Росту не хватает. Да и храбрости... В утешение аже вынесла Нартаю холодного айрана[1] в тостагане – деревянной чаше, разрисованной по краям. Нартай поднес тостаган ко рту, выпил жадно, большими глотками. Айран оказался очень вкусным.

Вместе с аже он вернулся в юрту. И осмо-

[1] Айран – кислое молоко

трел все внутри, внимательно, ничего не упуская. Огонь разводили здесь прямо посредине, а дым выходил в круглое отверстие наверху. «Шанырак» – называла его аже. И Нартай повторял за нею, прислушиваясь к звукам незнакомых слов: шанырак, уык, кереге[1]... В Алмате ничего этого не было. И юрты не было. И такого вот большого сундука, украшенного резной жестью. И деревянной кровати с выгнутым изголовьем. И еще одного сундука, черного, с разрисованной крышкой и боками, который называется кебеже... Здесь все по-другому. И совсем не видно книг. Как же так? Ни одной книги?.. В сундуке, на самом дне, есть одна книга, сказала аже. Очень старая книга – Коран... Он и взглянуть на нее не захотел, на эту книгу. Подумаешь, одна-единственная, да и то – старая. Не две, не три, не сто – одна... Нет, это не его дом – другой. И люди тут другие. Чужие...

Бородатый вернулся с работы вечером, усталый, но не было с ним ни бумаг, ни ручки с блестящим перышком. И книгу свою – одну-единственную – не вынул он из сундука, не стал читать. И назавтра тоже не вспоминал о ней. Только-только рассветет – он уже отправляется на работу, а приходит, когда на дворе сгущаются сумерки. Он обнимает Нартая, целует в лоб, в шею, и пахнет от него пылью, зерном, горячим степным ветром... Он добрый, думает Нартай, он хороший... чужой куке.

Раз он хотел взять Нартая с собою на хирман и еще кое-куда заглянуть, но аже не пустила. Вдруг пить Нартаю захочется? Или спать?..

[1] Части юрты

Он ведь маленький, пускай лучше к дому привыкает. Да Нартаю и самому никуда не хотелось. Ему бы в одиночестве подумать, вспомнить все в точности.

Сколько было у них комнат? Он этого не запомнил, но квартира была просторная, светлая, и в комнатах на полу – ковры... Красиво. И мягкие стулья, диваны – на них было так удобно, приятно сидеть или лежать. И разные шкафы, и столы с ящичками, а на ящичках – железные ручки, поблескивающие при свете ярких ламп. И под высоким потолком – подвешенные вокруг лампы льдистые, переливчатые стекляшки, а на шкафах, сверху, всякие штучки, кувшины и кувшинчики, что-то еще. Но всего больше было книг. У одной комнаты и стен-то как будто не было – с полу до потолка сплошь книги. Называлась она – кабинет. В нем работал отец, и входить туда запрещалось. Дверь в кабинет обычно бывала плотно затворена, и, лишь когда куке уходил из дома, к нему в комнату заглядывала мать. Чтобы взять какие-то бумаги или книги. А потом дверь снова закрывалась. Даже на ключ, если за нею был куке. Так что где там входить... Им и мимо-то пройти иначе, как на цыпочках, не разрешалось. Не то чтобы побегать, пошуметь... Впрочем, Ертай не слушался и делал все, что хотел. Глупый. Мама говорила, что он не глупее других детей, просто еще мал. И не понимает, чего от него требуют... Ертай, бывало, вперевалочку, на толстых ножках, добегал до заветной двери и, затаив дыхание, засматривал в щелочку, или в замочную скважину, или пытался разглядеть что-нибудь сквозь стекло.

Но стекло затягивала голубая занавеска, сквозь щелочку же в углу можно было увидеть разве что ножку стола и отцовские ноги в домашних тапочках с расплющенными задниками. Ножка стола не двигалась, а ноги отца то стояли на месте, то вдруг перекрещивались, начинали покачиваться, а то и вовсе исчезали – их не было видно. Значит, отец поднялся из-за стола. Но по-прежнему из кабинета не выходит. Слышно, как он вышагивает по комнате – туда-сюда, туда-сюда... И тут Ертай, глупыш, пускается в рев. Отец останавливается в надежде, что тот успокоится сам. Но Ертай не утихает. И голосит все громче. Тогда отец подает голос: «Мамуля, уведи этих бандитов!» Мамуля не слышит. Она в кухне – шыж-ж... быж-ж – готовит обед. Отец вынужден приоткрыть дверь. Но не для того, чтобы впустить их к себе. Перегородив проем, он снова зовет мать. И она спешит к ним, на ходу вытирая руки передником. Она уводит их обоих в другую комнату, – Ертая, который мешает отцу своими воплями, и Нартая, который ни в чем не повинен. Она перед ними наваливает целую груду игрушек, а сама опять уходит на кухню. Но спустя некоторое время Нартай, ступая на цыпочках, вновь крадется к отцовской двери, неодолимо его влекущей. И тут же следом, вперевалочку, появляется Ертай, с медвежонком в охапку или с машиной, которую тянет за собой на веревочке. И они по-прежнему стоят у двери, подглядывая в узенькую щелку...

Он не понимал, чем занимается день-деньской отец у себя в комнате, один, запершись и, наверное, ничуть не скучая. И до сих пор это непонятно Нартаю... Но как-то, когда отец исчез, он улучил момент и пробрался в его кабинет. Вот здесь-то и увидел он – книги, книги, книги, от пола до потолка, и все под стеклом. И все такие красивые... Впрочем, взять в руки хоть одну, подержать, полистать он так и не решился. Даже те, что валялись на полу, поверх ворсистого красного ковра, он только по переплету погладил. И к бумагам, разбросанным на столе, на полу, не притронулся. Только посмотрел, убедился, что картинок нет, одна писанина. Строчки густые, а буковки мелкие-мелкие...

Потом они переехали на другую квартиру. Ертай уже подрос. Начал говорить. И мог уже бороться с Нартаем... Крепенький, только глупыш. А может, просто младше Нартая... Лицом он похож на отца, говорила мать. Ертай похож лицом, а Нартай – умом. На отца... И она тоже была на отца похожа. Такая же хорошая. Только плохо – она умерла. Если бы ее не задавила машина, она б не умерла. Глупая машина. Злая машина. Глупая машина и на прямой улице прямо ездить не умеет. Злая машина всегда на хороших людей наезжает. В этом ауле нет машины. Лошади есть, и телеги есть, а машин нет. Правда, телега тоже может задавить человека. Или откуда-то, из леса, например, выедет машина – и задавит Ертая... Глупыша Ертая, единственного братика.

Через три-четыре дня аже сказала, что вечером будет веселье – той. И вечером собрались человек десять или пятнадцать, старики, старухи и женщины. Но никто не веселился, не смеялся. Наелись мяса, стали петь песни. Чаю попили – и

снова за песни. Это женщины. А мужчины – те все толкуют про хирман, еще про что-то скучное. И никто не улыбнется... Что в этом тое хорошего? Одни хлопоты.

Только и радости, что поиграл Нартай с мальчишками, которые тоже пришли в гости. Все они были здешние, аульные, кроме Рашита. Нартай вместе с Рашитом ехал сюда из детдома. Он не знал, что у Рашита отец – председатель колхоза, и только теперь услышал об этом. Не от самого Рашита – другие мальчики рассказали. Жалко, не пришли с ними ни Зигфрид, ни Яков... Ни Ертай... Зато вместе с матерью явилась девочка-дунганка с обритой наголо головой, Оля. И носилась, быстроногая, то туда, то сюда, и хохотала – заливчато, беззаботно. А ее мать – грузная женщина с грубым широкоскулым лицом – все пела, пела, сидя неподвижно, как истукан, и уставясь немигающим взглядом... Хохотушка Оля выскочила было вместе с ребятами на улицу, поиграть в аксуйек, но Нартай затолкал ее обратно в юрту, объяснив, что девчонки в кости не играют. Впрочем, игра все равно не получилась. Малыши для нее не годились, а сверстников у Нартая было мало. Так что всем скопом они побегали вокруг юрты, пошумели, едва не свалились в очаг, на огонь, догоравший под опустевшим казаном, – на том и закончилось веселье. Как раз к тому времени, когда взрослые стали расходиться, желая хозяевам здоровья и на прощанье целуя Нартая в щеку...

Плохо спалось этой ночью Нартаю, тревожные сны мучили его, и он просыпался в испуге, лежал, не смыкая глаз, в немой, вражде-

бной темноте. А утром, наскоро позавтракав, отправился в аул, не сказав толком даже, куда и зачем уходит. Он запомнил слова Рашита и без особого труда отыскал юрту, в которой жил Ертай. И младший брат, едва завидев Нартая издали, кинулся к нему и обнял, повис у него на шее...

Он был одет во все новое – на нем была белая рубашка и кумачовые шаровары с голубой полоской вдоль штанин. Только сандалии на ногах остались старые. Он вцепился обеими руками в Нартая, ухватил за пояс и потащил к юрте. У входа лежал черный пес – он прогнал собаку, запустивши в нее куском кизяка. И, подталкивая брата в спину, заставил перешагнуть порог.

– Это моя мать, – сказал Ертай, указав на моложавую женщину в повошенной шали. Она сидела возле кровати на тулаке – подстилке из козьей шкуры – и крутила веретено. – Апа, это мой старший брат Нартай.

Женщина неприветливо взглянула на Нартая, нахмурилась и продолжала крутить веретено.

– Отец на работе, – сказал Ертай. – Он бригадир. Он сильный.

И тут же объявил, что у него две камчи. Одну он взял с собой, уходя на работу, вторая висела на стене. Трехвостая, с вырезанной из таволги рукоятью, перевитой тускло поблескивающей медной проволокой... Ертай хотел показать камчу брату, но женщина, которую он называл «апа», не позволила снять ее со стены. Тогда Ертай начал раскладывать перед братом свои собственные богатства. Десяток асыков...

Непригодная для игры коровья бабка-левша – сампай... Резиновая свистулька – не то кошка, не то собака, выцветшая, не сохранившая и следов ярких красок, которыми когда-то была разрисована... И еще – осколок зеленого стеклышка, чтоб смотреть на солнце, и смастеренные из сухой дощечки вилы – целых две штуки, и грабельки на четыре зуба...

– Апа, дай нам баурсаков, – попросил Ертай, закончив свой показ.

Женщина безмолвно отодвинула веретено в сторону, нагнулась, запустила руку под кровать и, пошарив там, достала баурсак[1]. Так же молча она вложила его в ладонь Ертаю. Тот повертел баурсак так и сяк, помедлил, соображая, как ему быть. И протянул угощенье брату:

– На, ешь. У нас их много.

Нартай не взял:

– Ты сам ешь, я не хочу.

Ертай снова помедлил, подумал, но сам есть не стал, а сказал:

– Апа, дай еще баурсак.

Только теперь женщина заговорила.

– Сначала съешь тот, что у тебя, – суровым голосом произнесла она. – А то, как вчера, собака унесет.

Ертай запихнул в рот лоснящийся жиром колобок. И стал жевать – торопливо, проталкивая в горло недожеванные куски. Поперхнулся. По щеке у него скатилась слезинка.

– Апа, еще...

Но женщина как бы не слышала. Лицо у нее было серое, недоброе, она сидела к братьям

[1] Баурсак – несладкий ловчик

вполоборота и резкими движениями крутила веретено.

– Апа...

– Дурак!.. – не выдержал Нартай. – Твоя мать умерла! Это – чужая!

– Эй, ты чего несешь? – женщина выхватила из погасшего очага железную кочергу. – Ты чего несешь, обездоленный?..

Нартай вскочил на ноги, но не побежал, а даже будто нарочно замедляя шаги, дошел до порога, потом обернулся и присовокупил к своим прежним словам:

– У нас у обоих – одна мать. Она умерла. Она лежит в Алмате, на горе.

Женщина замахнулась кочергой, но не ударила.

– Убирайся! Пропади с моих глаз! – закричала она хрипло. – Попробуй только еще раз прийти!..

Нартай взглянул на Ертая, вконец растерявшегося, с застывшей на щеке круглой слезинкой, потом повернулся и пошел прочь. Его не испугала женщина с кочергой. Он, казалось, даже и пса как-то не заметил, хотя тот за порогом юрты подался было к нему, рыча и скаля желтые зубы... Нартай не спеша поднялся к седловине между сопками, постоял, обернулся назад. Он различил фигурку брата в дверном проеме – такую далекую, маленькую, сиротливую... И больше уже не сдерживал себя. Он пустился бежать по склону вниз. И бежал до самого своего дома. И до самого дома плакал.

на хирмане, и Тлеубай, взяв с собой отару овец, перебрался на зимовку в предгорья. Теперь он уже не мог приезжать так часто за Нартаем. Порой они не виделись месяцами. Только зимой, в каникулы, он взял к себе мальчика на все десять дней: в дороге их застиг буран, они едва добрались до зимовки. А в марте, когда началась весенняя суматоха, бураны сменяла ростепель, дороги развезло, а к тому же наступил сезон окота, он так и не сумел привезти Нартая домой на каникулярную неделю. Встретились они только после того, как закончился учебный год, в степи зазеленело и люди перебрались в низины, туда, где по берегам рек раскинулись привольные луга и пастбища.

Тогда же Нартай сумел наконец увидеть своего брата Ертая.

Всю зиму тосковал он по нему, тем более что встретиться им так и не случилось. Даже на январских каникулах – Ертай жил на другой зимовке, далеко. Но его видел школьник, двумя годами старше Нартая, гостивший оба раза у своих родителей. Дом его был рядом с домом Ертая, и он рассказывал, в какой шубе из белой овцы щеголяет Ертай и какой малахай на голове у него – из мягкого, шелковистого каракуля... А какой он стал шустряга, какой озоруй!.. И до чего радовался подарку Нартая – фигуркам лошади, козла и барана, которые тот нарисовал, а потом вырезал из газеты! Обрадовался и сам передал старшему брату подарок – два баурсака... В мартовские каникулы Нартай послал ему с тем же мальчиком новый рисунок – витязя на коне. Нартай нарисовал его на большом

* * *

Наступило время учебы. Ребята постарше по-прежнему работали на хирмане, а малышей, первоклассников и второклассников, увезли в центральную усадьбу колхоза. Тлеубай тоже отдал Нартая в школу, не послушав жены, которой хотелось, чтобы мальчик хотя бы год прожил с ними, привык к новой семье... «Восемь лет, – думал Тлеубай. – Незачем отставать от сверстников...» Он устроил Нартая в доме одного из своих дальних родичей. И подбросил им – в запас, для сына, – полбурдюка масла, полмешка курта и иримшика. Пообещал, кроме того, поближе к зиме барашка да пуд талкана – муки из жареной пшеницы, а там и еще чего-нибудь. Хозяева остались довольны.

Колхозный центр находился от хирмана неподалеку, в каких-то десяти километрах. Тлеубай, выкроив немного свободного времени, седлал кобылицу и ехал проведать сына. Случалось это чаще всего под вечер; он целовал полусонного Нартая, оставлял хозяевам килограмм-полтора муки и отправлялся в обратный путь. Выходные же дни Нартай обычно проводил дома. В субботу, после работы, Тлеубай ехал в центр, усаживал мальчика к себе в седло и вез домой, а в понедельник, еще не рассеются предрассветные потемки, отвозил обратно. Этот воскресный день всегда казался Нартаю слишком коротким – день, который он проводил среди близких ему людей, согреваясь теплом их простодушной ласки, отъедаясь вдоволь... Но закончились работы

листе белой бумаги синим карандашом, получилось очень красиво. А Ертай в ответ снова передал ему баурсак, правда надкушенный сбоку. Нартай долгов время не притрагивался к этим трем баурсакам, даже когда очень хотелось есть. Он их спрятал на самом дне портфеля, сшитого из светлого войлока, и вынимал, если особенно скучно ему становилось и одиноко и томила тоска... Наконец однажды, ближе к лету, он достал их после уроков и съел. Баурсаки затвердели, сделались как камень, он порядком помучился, пока разгрыз.

Брат, оказывается, сберег все его рисунки: сложил в несколько раз и хранил в кармане. При встрече он тут же их вытащил, развернул, но там уже ничего не разобрать было: карандаш стерся, бумага на сгибах надорвалась, обвисла клочьями.

Ертай почти не вырос в вышину, но коренастенькое тело его стало как-то крупней и грудь – шире, а большой головой на короткой шее он походил на задорно-упрямого бычка. На брата он был мало похож – лицо широкое, круглое, с пухлыми щеками и приплюснутым носом. Нартай был стройней, красивей, хотя ему и в голову не приходило сравнивать себя с младшим братишкой...

А каким он стал драчуном, каким задирой! Ни одного аульного мальчишки мимо своего дома не пропустит. В этого камнем кинет, на того собаку натравит... Впрочем, в присутствии Нартая он стихал и как бы сам себя стеснялся. Но Нартай и близко к его дому не подходил, встречались они на улице, когда играли. Брат

постоянно вступался за меньшого, защищал от ребят, точивших на Ертая зуб и поджидавших момента для мести. А Ертай и сам никого не боялся, готовый схватиться с теми, кто был намного старше. И спуску не давал. Случалось и ему быть битым, а вместе с ним перепадало и Нартаю. Но признать поражение, пойти на попятный? Где там!.. Он хватал все, что попадет под руку: палка – так палку, камень – так камень. И не знал жалости в драке. Хоть мал, да удал – все его побаивались. Даже те, кто мог с ним справиться, предпочитали держаться от Ертая подальше.

Осенью он тоже отправился в школу. И, по словам учителя, сын Бердена оказался таким же смышленым, как и сын Тлеубая. Нартай, впрочем, не сомневался и раньше, что так будет. Разве малыш, еще не умея толком говорить, не любил вычерчивать на бумаге разные закорючки? Не заглядывался на книги в отцовском кабинете?.. Он умный, Ертай, и станет еще умнее – как отец. Он будет лучше всех учиться в первом классе. И во втором, и в третьем, и в пятом... Он похож на отца, очень похож. И тоже будет много читать. Они оба будут много читать – и Ертай, и Нартай. Особенно Ертай. Ни у кого нет такого славного братишки, как Ертай... Ни у кого!

* * *

Весной закончилась война.

Как люди радовались! Просто пьяные ходили от счастья. И лица у многих стали улыбчивее, будто просветлели. То в одном доме, то в другом собирались гости на веселый той. Но в повседневной жизни все оставалось по-прежнему. Учитель, один на все четыре класса, распустил в положенное время школьников по домам. Тлеубай сдал колхозу отару, которую пас зимой, и снова взялся за соху. Бригадир Берден опять вооружился своей грозной камчой и оседлал белоногого Актабана. И, как в прошлые годы, поближе к хирману, на берегу реки, поднялись юрты, около десятка, среди них одна из кошмы посветлее – председательская, остальные – потемнее, иной раз и дырявые от старости.

Несколько семей, тоже занятых полевыми работами, раскинули жилища в стороне, особняком, чтобы привольней было и самим, и телятам с жеребятами. Ребята тоже не бездельничали – кто за сохой ходил наравне со взрослыми, кто за скотиной смотрел; каждому дел хватало. И только самая что ни на есть мелкота день-деньской гоняла по берегу, плескалась в речке и выуживала из воды чебачков...

Короче, все вроде бы осталось по-прежнему.

По-прежнему – да не по-прежнему...

Отчего у него было такое чувство, Нартай вскоре понял. В аул, где для него давно уже не было чужих лиц, по одному, по два стали приезжать незнакомые люди. Одетые не как-нибудь, не во что попало, а – не в пример аульчанам – с иголочки. И все молодцеватые, подтянутые, в гимнастерках и широких, туго схватывающих талию, ремнях. Глаз не отвести – картинка!

Каждый из них оказывался чьим-то отцом или старшим братом. Везло же мальчишкам! Как не позавидуешь тому, у кого такой брат. Или отец...

Следом за другими вернулся домой и старший брат Рашита. Сын баскармы. Хотя было известно, что он погиб в позапрошлом году: почта принесла извещение, так что и Рашит, и отец Рашита – баскарма, и весь аул считали его погибшим. А он вдруг приехал. Правда, руки одной нет, и ноги одной нет, и на уцелевшей руке нет ладони с пятью пальцами. Но все-таки живой.

Все-таки голова цела. И одна нога цела. И еще полруки. Рот, нос, глаза – все на своем месте. Жив! Привезла его светловолосая русская женщина, ее все называли – Сестра. Глаза у нее были голубые, лицо добров... Она привезла старшего брата Рашита и, не задерживаясь долго, уехала.

Баскарма устроил той, на него собрался весь аул.

А точнее, съехались люди со всего колхоза – и из центральной усадьбы, и с отдаленных ферм. И Нартай был на этом тое. И Ертай.

Старший брат Рашита многое рассказывал: и как его ранили – тоже, и как врачи у него из головы осколок вынимали, хоть и небольшой, но вполне достаточный, чтобы жизни лишить. Долго выпижали, но все-таки вынули, вот он и остался живой. Только не такой, каким был раньше, когда на фронт уходил... Ну да ведь

сколько на тех, с кем он уходил, и совсем не вернулось... Его, старшего брата Рашита, сына баскармы, слушали – не дышали. Многие плакали, многие радовались. Кто сочувствовал ему всей душой – не мог удержаться от слез. Кто надеался, что и его сын так вот из мертвых может воскреснуть, – эти радовались. И не отходили от старшего брата Рашита особенно получившие в свое время «черную бумагу» – похоронку. Расспрашивали: не видел ли он того-то?.. А где такой-то?.. Не видел. Не знает. Он был вместе только с куке Урака. Про него в «черной бумаге» написано правильно, сказал он. «Ранило его примерно за полчаса до того, как ранило в меня... Не ранило – убило. Я сам видел, как он испустил дух...»

Запричитала мать Урака, расцарапала себе лицо, раскровенила щеки. Глядя на нее, страшно стало Нартаю, кожу на голове как холодом стянуло. Да и старшему брату Рашита сделалось, видно, не по себе.

Пот крупными каплями выступил у него на лбу, лицо побелело, даже какой-то голубоватый оттенок появился на нем, словно у неживого... Плохо, плохо все получилось...

Но скоро снова он принялся рассказывать: и смешное в его рассказах сплеталось с грустным, веселое – с мрачным, и до того крепко – не расцепишь... А чаще всего повторял он одни и те же слова: «Наконец-то снова я дома – по родной земле ступаю, воду родную пью, я сам все еще не верю...» И хотя не как раньше – во всеуслышанье, а уже потихоньку, не привлекая лишнего внимания, – каждый расспрашивал его, задавал

осторожные вопросы... Но снова и снова твердил он, что с ним на фронте был только отец Урака, о других ему ничего не известно.

То же самое сказал он и о сыновьях Бердена, то есть о двух старших братьях Ертая... Знал Нартай, что эти братья Ертая никогда не станут братьями ему самому. А его старший брат, воротись он домой, не будет братом Ертаю. Потому что Тлеубай и Берден им не настоящие отцы. Да еще и в ссоре друг с другом. Настоящие братья, по крови, – это они, Нартай и Ертай. У них была одна мать, только она умерла...

И один отец. Только его нет... Нет... Но может быть...

Он долго не решался, и бросало его то в жар, то в холод, пока, наконец, он не спросил:

– А моего куке вы не видели?

– Твоего кука?.. – переспросил старший брат Рашита. – А он кто – твой куке?

– Наш с Ертаем...

– Кто-кто?.. – повторил старший брат Рашита, растерянно озираясь по сторонам.

Он ждал ответа, подсказки, но все молчали, опустив глаза.

– Чей это сын?

– Тлеубая сын, – отозвался кто-то. – Из детдома он...

На заговорившего цыкнули, тот прикусил язык.

– Это младший сын Тлеубай-агая, – стал объяснять один из присутствующих. – Зовут его Нартай. Тлеке упал с лошади, ногу сломал, вот и послал на той сына вместо себя, с тобой поздороваться, честь воздать твоему возвращению...

— Э-э-э... — задумчиво протянул старший брат Рашита. — Вот оно что... Младший сын Тлеке, значит... Моего Рашита товарищ, значит... Подойди ко мне, айналайын, поцелую тебя.

Нартай не подошел. Испугался болтавшейся ниже плеча культи. Но его все же подхватили под мышки, приподняли, посадили перед старшим братом Рашита. И тот поцеловал Нартая в щеку. Холодными, как лед, бескровными губами. И локтем, а вернее — концом культи погладил по голове.

Странное дело — мягкая оказалась культя. Мягкая-премягкая, а вовсе не такая, как Нартай ожидал.

— Был он джигит — настоящий джигит! — услышал Нартай. — Замечательный был джигит!.. Поначалу мы вместе служили, помню — на военных маневрах... Потом разделили нас. Я пошел в кавалерию, он стал снайпером, вот так... У нас ребята все просились или в кавалерию, или в снайперы. На коне привычнее, чем пешком, так мы думали. Где это видано — пешими с врагом сражаться... Снайперы погибали тоже, но все-таки... Нас гибло куда больше. Что уж там кони, кавалерия — на такой-то войне... Куке твой, говоришь? Он был меткий стрелок, никогда промаху не давал, вот так... Его во фронтовой газете хвалили, я сам читал! Ну, а потом... Да ты не плачь, айналайын... Жив он... Может, и жив... Откуда мне в точности знать, чудачок? На фронте знаешь сколько людей было? Тысячи, миллионы, как я мог за всеми углядеть?.. Вот я и говорю: может, и живой. Ходит себе, может, где-нибудь, землю топчет, домой собирается... А там, смотришь, и приедет... Я тоже вот приехал... Приехать-то приехал, только сам... вроде подпиленного дерева... Разве это жизнь? Еще не известно, кто кому завидовать должен на моем-то месте: мертвый живому или живой мертвому...

Старшему брату Рашита не дали дальше говорить — перебили, зашумели, стали успокаивать, иные даже сердились, укоряли за глупые последние слова, иные же плакали, отвернувшись, не в силах унять слез... Посыпались и у Нартая по лицу слезинки, посыпались мелким частым горошком, и он, не глядя ни на кого, выскочил опрометью из переполненной юрты.

Но были рождены эти слезы не горем, а радостью.

Вместе служили, сказал он, вместе были на военных маневрах... Может, и жив, сказал он. Жив... И домой собирается. Только не едет, нельзя, значит, не время еще, не всех сразу из армии отпускают... А отпустят — тогда и приедет. Скорее бы...

И Нартай стал дожидаться возвращения отца. С зари до зари, случалось, бродил по сопке, сидел на вершине — караулил большак, ведущий в районный центр.

Иной раз покажется на дороге всадник. Иной раз — двое или трое. А то вереницей тянутся друг за другом телеги, запряженные медлительными волами, или верблюды, напоминающие чем-то цепочку возвращающихся в родные края гусей. Нартай смотрит, вглядывается, пока в глазах не начнет мутиться. И, сбежав с холма, вместе с остальными ребятами мчится навстречу едущим.

Ребятам только бы вскарабкаться на арбу или на коне прокатиться. Ну а ему – не пропустить бы куке. Да не видать его что-то... Едущий шагом одиночка – это баскарма, он возвращается из райцентра; первого из подбежавших к нему мальчишек он сажает впереди себя, второго – позади; немного спустя их сменяют другие; очередь до Рашита доходит тогда, когда отец уже подъезжает к дому и спешивается, зато ему теперь никто не мешает в одиночку распоряжаться отцовской лошадью... А двое, что рысят по дороге, – это представитель из района и счетовод Дауренбек; уж они-то, заранее известно, никого к себе не подсадят – лишь окинут сердитым взглядом голосистую ватагу и промчатся мимо, обдав пылью... Но вот вдоль дороги растянулась цепочка телег или верблюжий караван, отвозивший на склад зерно. Бывает, вместе с караваном, усевшись на арбу или верблюда, возвращается в аул кто-то из фронтовиков. В таких случаях караван даже выглядит иначе, нежели в другое время. Как ни медленно он движется, а все-таки же на подходе к аулу прибавляет шагу. Камчи со свистом вьются над крутыми волосатыми боками, телеги грохочут, шум стоит такой, что слышно за один-два километра. Кто-нибудь, взобравшись на быстроходного верблюда, опередив караван, устремляется в аул. И кричит во все горло, размахивая тымаком: «Сүюншi! Сүюншi![1]..» Тут не только дети – взрослые не усидят на месте. Весь аул, от мала до велика, высыпает навстречу. Меж детьми, далеко опередив старших, несется и Нартай. Скорее, скорее... Вот и караван. Когда он уже совсем близко, с арбы обыкновенно спрыгивает кто-то в военной форме. Кто?.. Никто не знает, но все бросаются наперегонки. И галдят, и перекрикиваются один другого, и виснут на шее, и забираются на плечи, и – самые маленькие – обнимают ноги в пропыленных сапогах. Тем временем поспевают и взрослые. Поцелуи, приветствия, слезы, смех... Только теперь для Нартая проясняется, кто такой прибывший в аул, демобилизованный из рядов армии воин. Отец, или старший брат, или кто-то из близких другого мальчика...

[1] Сүюншi – возглас, предшествующий сообщению радостной вести.

И Нартай с надеждой дожидается завтрашнего дня.

Но проходит и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра, и послепослепослезавтра – не приезжает отец. Проходит еще неделя, еще месяц – нет его, и почта тоже не приносит о нем никаких вестей. Наступает осень, начинается школа – все еще ничего. Дни мелькают за днями – короткие, хмурые, моросят дожди, а его все нет. Снегом покрылась земля, стекла на школьных окнах изукрасили зимние морозы, а его нет и нет... И не будет, понял Нартай. Напрасно его ждать. Он не приедет. Сюда не приедет. Как же он сюда приедет, если ему неизвестно, что дети его – здесь?

Нартай рассказал о своей догадке Ертаю. Хоть и маленький, но уже не дурачок, не глупыш, каким был когда-то. Уже больше восьми – лучший ученик второго класса... Все понимает!

– Наверное, наш куке вернулся, – сказал

Нартай. – Наверное, наш куке в Алмате. А где мы с тобой, не знает... Помнишь, какая была у него комната – кабинет? А сколько было там книг, помнишь? Наверное, он и сейчас там, у себя в комнате, где столько книг. Он там, а мы здесь... Мы должны к нему поехать. Сами. Дом я найду, – сказал Нартай. – Большой дом, трехэтажный. И рядом – фонтан. Знаешь, что такое фонтан? Не знаешь, глупыш?.. Это такой ручеек, только вода из него течет прямо в небо. Понимаешь?.. Да, там и деревья, много деревьев, и все огромные, высоченные, как ты играл под ними – помнишь?.. Не помнишь?.. Ну, не важно. Лишь бы добраться до Алматы, а там я все найду. Только бы добраться... Надо сесть на поезд. Все поезда идут в Алмату. Сядем в Нарыне. Отсюда до Нарына – сто девяносто километров. А в задачнике по арифметике сказано, что пешеход в час проходит пять километров. Значит, на всю дорогу надо тридцать восемь часов. Устанем – отдохнем, верно? Можно спать ночью, зарывшись в снег, в снегу – тепло... Так написано в учебнике по родному языку.

Ертай все одобрил, со всем согласился. Только жаль ему отца, который за ним приедет, чтобы взять домой на десятидневные каникулы...

– Я тоже соскучился по аже, – говорит Нартай. – Но ведь у нас есть наш настоящий отец, куке. Если мы здесь останемся, он подумает, что мы пропали, и вместо умершей мамы приведет другую, а вместо нас найдет других детей...

Это производит впечатление на Ертая.

– Тогда пойдем... Только сначала нужно подготовиться. Надо собрать еду, чтобы хватило на дорогу до Алматы...

И оба собирали, копили потихоньку – баурсаки, курт, иримшик... И не оставалось ничего такого, что могло бы теперь их задержать.

Как и сговорились, оба встали еще затемно, чтобы не попасться кому-нибудь на глаза... Правда, в последний момент Ертай вдруг заколебался. Жалко ему было навсегда расставаться с теми, кого уже привык он здесь называть матерью и отцом... А что ему мог сказать на это Нартай? Ведь и для него было горько покинуть добрых людей, которым был он вместо не то сына, не то внука...

– В Алмату приедем – письмо пришлем, – сказал он брату. – И летом сюда вернемся – на каникулы. А пока сделаем, как решили.

Больше они не стали медлить. Санный путь, изгибаясь, уводил их вперед, по сторонам смутно белела в предрассветных сумерках неоглядная степь. Если все идти и идти, дойдешь до колхоза «Кызыл ту», это им было известно. А пойдешь дальше – будет колхоз «Азат». Пойдешь по дороге, никуда не сворачивая, – будет станция Нарын. А там и поезд, который отвезет их в Алмату...

Когда братья выходили из аула, было тепло, безветренно, улежавшийся наст весело поскрипывал под ногами, придавая бодрость. Но затем внезапно похолодало, в воздухе закружились крупные хлопья. Нартай шагал впереди; ветер ударял ему в лицо, залеплял глаза снегом... Он заслонялся рукавицей от ветра, оглядывался и

поджидал, пока его нагонит приотставший Ертай. У того пар валил изо рта и ноздрей, щеки были красные-красные, а брови белые, мохнатые...

– Давай вернемся, – сказал Нартай. – Еще заблудимся.

– Не заблудимся, – Ертай поглубже на лоб надвинул шапку. – Пойдем по дороге – и не заблудимся.

– Давай вернемся, – повторил Нартай.

– Все равно на уроки опоздали... Что учителю скажем?

– Давай вернемся, – уговаривал Нартай. – Смотри, как метет... Не дойдем, замерзнем!

– Не замерзнем, – упрямо твердил Ертай. – Тут скоро молочная ферма, до нее дойдем...

– Не дойдем.

– До аула теперь дальше, чем до фермы.

– Нам ветер в спину дуть будет, подгонять... Давай вернемся...

– Ты сам, – сказал Ертай, – сам возвращайся. А я пошел. Ты и апу видел, и куке видел, а я никого не видел. Я тоже хочу увидеть. Я сам найду дом, про который ты рассказывал.

Он отбросил руку Нартая, который пытался удержать его, и, весь облепленный снегом, двинулся вперед по дороге. Нартай постоял немного, растерянно озираясь по сторонам. Что было делать?.. Он последовал за братом.

Снег повалил гуще, ветер швырял его в лицо пригоршнями. Мороз усиливался. Плотная белесая мгла простерлась над степью.

* * *

Их отыскали только на девятые сутки – после того, как утих буран. Видимо, первым упал Нартай. По одну руку от него лежал малахай, по другую – валенок. Шуба на груди была расстегнута. Похоже, когда его совсем доконал мороз, он стал сбрасывать с себя одежду и раскидывать куда попало. В конце концов он упал и растянулся во всю длину, подогнув под себя обутую в валенок ногу. Ертай застыл рядом с ним, стоя на коленях и глядя в небо. Руки его, обнимавшие непокрытую голову брата, примерзли к ней намертво.

Наверное, дети потеряли направление и сбились с пути, когда пытались укрыться от бурана в защищенной от ветра лощине. До молочной фермы им оставалось одолеть каких-нибудь триста метров.

ПРИТОК ТРЕТИЙ. ЯКОВ-ЖАКЫП

Он и сам не знал, кто он по национальности. Вначале, когда он сюда приехал, говорили, что он русский. Удивляться этому не приходилось: казахи всех людей, не схожих с ними обликом, в особенности же голубоглазых и светловолосых, относили обычно к русским. Когда он сделался старше, на вопрос, кто он, Яков отвечал: «Русский», а про себя думал, что с таким же основанием мог назвать себя украинцем или белорусом. Или поляком. Или евреем. Тем не менее сам себя он по-прежнему считал русским, да и не слишком много придавал этому значения.

Русский так русский, и точка! Ну а в ауле постепенно как-то забылось даже и то, что он русский. Жакып... Жакып Кобегенов... Между собой аульчане называли его «тот Жакып», а если надо было выделить среди других Жакыпов, то говорили: «Жакып Кобегена». Вот он и начал тогда соображать: «А может быть, я и в самом деле казах?» Ведь и правда мог же какой-нибудь казах, уехав из родных краев, жениться где-нибудь на русской женщине, или на полячке, или на еврейке?.. Но сколько ни думал и ни вспоминал он, а отца все же припомнить не мог. Известно ему было только, что был он человеком военным, носил форму защитного цвета, широкий темно-коричневый ремень и тяжелый револьвер в кожаной кобуре. Остальное – лицо, имя, фамилию – он забыл. Забыл начисто.

Помнилось только, как глубокой осенью – деревья стояли уже голые, черные – они с мамой сели в поезд. Множество людей, давка, плач, ругань, лица – растерянные, злобные, залитые слезами, в вагоне – теснота, на полу все вповалку – дети, женщины, вещи, какие-то мешки, чемоданы, узлы... Но все, что он видел, ему казалось увлекательным приключением, захватывало необычностью, новизной. Эшелон еле тащился по забитым путям, застревал в тупиках, на полустанках. Поезд начинал двигаться – люди мало-помалу затихали, успокаивались. Поезд останавливался – всех охватывала тревога... А ему было интересно наблюдать, как мимо в обратную сторону, где на машинах, где пешим строем двигались бойцы в серых шинелях, с винтовками за плечами, уходящими вверх своими длин-

ными, тонкими штыками. Встречались машины, которые тянули за собой пушки, повернутые задом наперед. Встречались танки. Они ползли в затылок один другому, как толстые неуклюжие жуки. И было жаль, что ползли они навстречу составу, а не рядом с ним, не в том же направлении, – так было бы куда удобней и дольше за ними наблюдать. И еще обиднее – не было видно самолетов, а ему так хотелось на них посмотреть! Вот он и приставал все к маме – когда они прилетят?.. Наконец миновало двое или трое суток – они прилетели... С рассвета эшелон стоял на какой-то маленькой станции. Самолеты, которых он дожидался с таким нетерпением, появились после полудня. Летели они тремя рядами, ровно, красиво летели. И было их много – почти столько же, сколько пальцев у него на обеих руках... Но люди, вместо того чтобы любоваться таким редкостным зрелищем, ударились в панику. И мама, не дав ему как следует сосчитать самолеты, схватила его за руку, и они вместе со всеми побежали куда-то за насыпь, в поле; дальше была какая-то яма – яма или ров, добраться они не успели, мама упала на землю ничком и подмяла его под себя. Только тогда, в тот именно миг, ему сделалось страшно. Он едва не задохнулся, заплакал...

Что было после, он помнил совсем смутно. Помнил, как от страшного грохота начнулось небо, задрожала земля. Помнил клубы дыма – синие, белые, и пламя – красное, слепящее... Был момент, когда земля ушла у него из-под ног, встала дыбом, и почудилось, что спина у него треснула, переломилась пополам. И навсегда

пронзило память, как мама, навалясь на него, придавив к земле всей тяжестью своего тела, вдруг странно, едва слышно охнула и грузно отвалилась вбок.

Он открыл глаза, когда звенящая тишина – страшнее любого грохота – ударила в уши. Он увидел мать: правой рукой она царапала землю, а правая нога отбивала частую дробь и все подпрыгивала, словно стремясь отделиться от тела. Алая кровь хлестала из левой руки, перебитой в локте, и из левой ноги, разорванной от колена до бедра. Из ломтей кроваво-красного мяса торчала острым обрубком белая кость... Дальше он не помнил.

Еще одно звено в распавшейся цепочке: пахнущая лекарствами комната, светлые стены, потолок, тёти в белых халатах. Не слышно, как они ходят, разговаривают, хотя видно, что губы у них шевелятся. Вообще не слышно ни звука, как будто весь мир онемел. Странно... Через два-три дня, когда у него отлегло в одном ухе – словно вынули вату, правда, не всю, – он понял, что не мир, а сам он сделался немым. Теперь его пугал каждый звук или слово, слабо, как бы издалека доносившееся до него. И он по-прежнему не понимал, что за люди лежат на соседних койках, и откуда эти тёти, и как он сам оказался здесь, где был раньше. Все вокруг представлялось ему незнакомым, вызывало тягостное удивление. И снился ему по ночам один и тот же сон. Как он сжимает ладошкой руку матери, и они бегут, бегут – все быстрее, быстрее... Уже задыхаются, уже ноги слабеют в суставах... А они все бегут, спасаются от какого-то злобного

чудовища, которое следует за ними по пятам, неотступно. И вот им уже не под силу бежать, они падают и ползут. Лишь теперь отваживается он оглянуться. И видит самолет. Вместо пропеллера – голова с загнутым книзу железным клювом. Длинные когти достают до самой земли. Вот-вот они настигнут его и схватят... Но что это?.. Чудище, похожее на самолет, или самолет, похожий на сказочное чудище, крылом отбрасывает его в сторону и, подхватив мать, уносит с собой. Она не бьется, не вырывается. Она летит, машет ему рукой и смеется. Он в испуге кидается за ней, кричит, зовет ее... И кто-то обнимает его, поднимает с земли. Прижимает к груди, успокаивает. А он кричит, изнемогая от страха и слез. Тёти в белых халатах окружают его, по очереди берут на руки. Кто-то гладит, кто-то целует. А он плачет все громче и горше.

Он плачет, вспоминая мать, ее искалеченное тело, бедро с выпирающей из раны белой костью, вспоминая широкий отцовский ремень и тяжелый револьвер в кожаной кобуре. Он только никак не может вспомнить, понять, что целых три месяца, лишенный слуха и языка, он был между жизнью и смертью, что совсем недавно, несколько дней назад, у него стало слышать одно ухо, а язык развязался только сегодня, сейчас...

Тёти наконец добились общими усилиями, что он перестал кричать и плакать. Ему принесли кусочек рафинада, какую-то игрушку со свистулькой. Пробовали расспросить о чем-нибудь, затеять разговор. Но у него болела голова, поташнивало, да и многие из слов, обращенных

к нему, он попросту не расслышал. А те, что расслышал, не совсем понял. А на слова, которые понял, не смог ответить. И лишь когда особенно настойчиво приступили к нему с расспросами, он произнес в ответ одно-единственное слово:

– А... а... а-кын!

– Яков! – догадалась одна из тёть, и все они расплакались.

Они были хорошие, эти тёти в белых халатах. И больница – она Якову нравилась. Не понравилось ему в детском доме. Несколько раз он убегал, садился в поезд и ехал куда глаза глядят, чтобы в конце концов снова угодить в детский дом. Но всюду повторялось одно и то же. Двадцать-тридцать детей в группе, и где тем уследить за ними одному воспитателю? Мальчики постарше – забияки, сорвиголовы, младшие – ненамного лучше. И все дразнятся, насмешничают над ним, над его запинающейся, корявой речью. За два года он превратился в замкнутого, дичащегося всех ребенка. Он знал, что жил раньше где-то далеко, там и земля, и люди – все другое. Знал – и потому чувствовал себя не только сиротой, но и чужаком. Хотя большинство детдомовцев и обликом, и языком похожи были на него.

Предчувствие неожиданных, радостных перемен... Оно никогда его не покидало. И вот однажды воспитательницы отобрали в младшей группе человек десять примерно одного возраста и сказали, что они поедут в аул, где их ждут не дождутся папы и мамы. Дети шумно возликовали, обрадовался и Яков. Но не стал бегать и прыгать, подобно прочим, ошалев от веселья.

Он давно был уверен, что рано или поздно его разыщут.

В аулы увозили не только их, а многих детей. В большинстве они были повзрослее, лет четырнадцати-пятнадцати. Держались они свободно, независимо. Руки в карманах, цигарка в зубах, ходят себе и поплевывают через губу – не подступишься... И тех, кто приехал за ними, не очень-то замечали, не очень слушались. Всю дорогу скакали с телег, затевали потасовки, а то и драки. Сопровождавшие их лишились терпения и покоя.

Караван из десятка телег, запряженных волами, долго, с ночевками, добирался до районного центра. Дорога была тяжелой, в особенности последний день. На волов уже не действовали ни камча, ни уговоры, и они ступали медленно, истекая слюной и покачивая рогами. В колесах высохла смазка, они натужно скрипели, с трудом поворачиваясь и кренясь то в одну, то в другую сторону. Дети устали. Если прежде они радостно вскрикивали при виде каждого зайца, перебегавшего дорогу, или дрофы, насторожено вытягивавшей шею на отдаленном склоне, то теперь никто даже головы не поворачивал в их сторону. Самые заядлые озорники – и те притихли. Когда остановились на обеденный привал, оказалось, что и перебродившее кислое молоко в сабе[1] кончилось. Вечером въехали в село, где было много домов непривычного вида, с плоскими крышами, то рассыпанных без всякого порядка по косогору, то сбившихся в кучу. Не веселила глаз и главная улица, где на каждой те-

[1] Саба – бурдюк

легой столбом вздымалась рыжая пыль... Но все были рады и этому селу, и концу пути.

Наутро пришли незнакомые люди. Все они, как один, были с обветренными загорелыми лицами, черноглазые, черноусые, чернобородые, в чапанах и невиданных треухих шапках – тымаках. «Это мои дети», – говорил каждый и уводил с собой по нескольку человек. Вскоре из пятидесяти или шестидесяти ребят, проведших ночь в конторе райисполкома, осталось десять-пятнадцать самых маленьких. Их накормили супом, напоили шалапом[1], и они снова заночевали в конторе.

Детей разбудили затемно, и опять ждала их тряская арба. Многие не успели как следует выспаться, к тому же пронизывало утренним холодком и хотелось есть... Но старый казах с редкими усами на широком лице, ехавший на коне рядом с подводой, сказал, что скоро каждый будет жить у себя дома, со своими родителями, и тут даже у самых маленьких высохли слезы. Он брал к себе в седло ребятишек, рассказывал им что-то занятное. Лоб у него был в жестких морщинах, а глаза улыбчивые, добрые... Яков очень внимательно его слушал, но так ничего и не понял. Выяснилось, что он почти не говорит по-русски. Теперь Яков уже с некоторым сомнением начал поглядывать и на этого старика, который был, конечно, хорошим человеком, только по-русски не разговаривал; и на молодого казаха, который по-русски разговаривал, но видом был чрезмерно суров и нравом слишком беспокоен – то нахлестывал своего саврасого, чтобы

[1] Шалап – разбавленное водой кислое молоко

вырваться вперед, то, напротив, отставал от подводы; третий, правивший арбой казах средних лет, за всю дорогу не проронил ни слова и не огляделся ни разу по сторонам, а все мычал и мычал про себя какую-то песню. Якову не верилось, что его родители действительно живут здесь, посреди этих чужих по языку и обличку людей.

Сомнения его вполне оправдались.

Все дети, приехавшие с ним вместе, отыскали своих родителей. Старик, который привез их, оказался отцом Рашита. Недаром он столько раз дорогой подсаживал его к себе на коня... Отцом Зигфряда был белобородый, горделивой осанки старик, со смуглым лицом и длинными, как у Чапая[1], только совершенно седыми усами. Так же, как Чапай, восседал он на статном аргамаке, правда, вместо сабли в руке у него была плеть с витой медной насечкой вокруг рукоятки. Все встретили здесь своих родителей. Даже Оля – совсем еще маленькая девочка со смешной, наголо остриженной круглой головкой. Только Яков остался без отца. И маму тоже не нашел...

Якова, понятно, тоже не оставили на улице. Какая-то женщина подошла к нему и увела с собой. «Я – твой мама, – твердила она. – Я – твой мама». Но Яков не забыл свою маму. Что-что, а глаза ее он хорошо помнил – большие и ясные, наполненные нежной синевой... И волосы – каштановые, с красноватым отливом. И розовый, разлитый по щекам румянец. Она была

[1] Чапай – Василий Чапаев, один из самых известных героев Гражданской войны в России начала 20-го века, символ советской пропаганды

высокого роста, статная, крупнотелая, и кожа у нее была белая и гладкая, с чуть заметным золотистым пушком. Ну а у этой – и глаза черные, и волосы, и роста она небольшого, и не полная, а, наоборот, тоненькая, худенькая. Лицо у нее не светлое, а смуглое... И еще: мама по-русски разговаривала, а эта одно русское слово, наверное, и знает, но даже его произносит с ошибкой. «Я – твой мама...» Какая она мама? Она чужая. Чужая мама...

Чужая мама, держа Якова за руку, привела его на окраину аула. Здесь стояла ее юрта, но не большая, не высокая, как у других, а поменьше – юрта-кос. В такой юрте взрослый человек только на середине может распрямиться в полный рост, а двое уместятся с трудом и только сидя. Однако Якову юрта-кос понравилась. На дом не похожа, скорее напоминает шалашик, сложенный ребятами для игры... Он сразу почувствовал себя тут легко, вольготно.

А когда перед ним появилась сметана в тостагане и мягкий, тающий на языке иримшик, он и вовсе повеселел. Там, где они ночевали, в конторе, он почти ничего не ел, теперь у него разыгрался аппетит, иримшик он глотал с жадностью, сметану вылизал до самого донышка. И вдобавок выпил наполненную до края чашку айрана.

– Ох! – произнес он, погладив живот. Он чувствовал, что пожадничал, переел, живот, отощавший в пути, прямо-таки распирало от сытости.

Глядя на него, чужая мама довольно рассмеялась.

– Апа, – сказала она, указывая на себя пальцем. – Апа!

Выходит, ее звали Апа?..

– А-па! – повторил за нею Яков. Хорошее слово, короткое и удобное для произношения. – Апа, – повторил он во второй раз.

Апа обрадовалась. Погладила Якова по голове, что-то сказала. Яков хоть и не понял, но по голосу догадался: что-то приятное. И улыбнулся в ответ.

Апа съела немного курта, запила айраном и ушла. Яков остался один. Дверь была открыта, но его не тянуло наружу. Перед уходом Апа приподняла нижний край юрты, и Яков, лежа на старой кошме, наблюдал, как из соседних юрт выходили женщины, старики. Все беспорядочной толпой направлялись в сторону голубеющей неподалеку реки. В толпе заметил он и свою Апу. За взрослыми шли ребята, его сверстники, кое-кто – постарше. Но никого из тех, что приехал сегодня вместе с ним, здесь не было.

Вскоре взрослые спустились к реке и пропали из виду. Ребята, гомоня, рассыпались по берегу. Стало тихо. Лишь с противоположного берега временами доносилось хриплое тарахтенье – не то машины, не то трактора.

И вдруг вспомнился неведомый, где-то на другом конце земли, город, и будто было это давным-давно... Поезд на далекой станции, где они садились... Мерное, однообразное постукиванье колес... Хотя эшелон больше стоял, чем шел... Грузовики, хмурые лица солдат, танки с вытянутыми вперед стволами пушек... Вспомнилась мать, залитая кровью, и торчащая из

разодранной раны острая белая кость... Раньше эта картина, возникнув, неизменно вызывала у него дрожь во всем теле. Сейчас впервые такого не случилось. Все, что мерещилось ему, было туманно, расплывчато. И казалось страшным, но вряд ли происходившим на самом деле. Однако и тут у него навернулись слезы. Он заплакал — тихо, беззвучно. И, плача, заснул.

Снова ему приснился все тот же сон — как он бежит, но бежит один, а за ним, едва не касаясь черным брюхом земли, гонится самолет. У Якова уже подламываются ноги, вот-вот он рухнет на землю... И самолет настигает его. Сейчас он начнет стрелять, сейчас... Яков оглядывается, но видит своего отца. Это не самолет, а отец спустился с неба и обнимает, целует его в лицо. Губы у него мягкие... Надо лбом — пятиконечная звезда... Отец!.. Он снова целует Якова, но губы у него странные — жесткие, колючие. Целует он или кусает, царапает?.. Папа!.. Нет, он смотрит — это совсем не папа... Нет! На лбу у него черный крест. Это — фашист! У Якова затряслись поджилки. Он хочет бежать, но не в силах двинуться. Хочет крикнуть — нет голоса. А страшный человек целует его, кусает, царапает. «Узнай меня!.. Ты меня знаешь!..» Да, он видел, видел этого человека! Это — Дауренбек, он сопровождал их, ехал на саврасом коне...

— Кет!.. Прочь!..

Яков очнулся. Было уже темно. Ана вернулась домой. Увидев бычка, который просунул голову в юрту и облизывал спящего мальчика, она криком прогнала его прочь и принялась расталкивать Якова. Она гладила Якова по спине и, не-

громко смеясь, приговаривала что-то ласковое. Но он все дрожал, не мог прийти в себя.

Ана принесла кизяку, сложила посреди юрты и разожгла огонь. В чугунке, подвешенном к треноге, вскипятила молоко, подлила воды, снова вскипятила и насыпала в чугунок талкана. Сваренный суп, как понял Яков, назывался «корз коже». Ана наполнила две глубокие чашки. Одну, поменьше, поставила перед Яковом, вторую пододвинула к себе. Суп оказался Якову по вкусу. Он попросил добавки и выпил еще половину кесе[1].

Кровати в юрте не было. Ана постелила на полу. Якова она укрыла одеялом, до того износившимся, что ткань расползлась и во многих местах наружу торчала шерсть. Сама же она накрылась шубой и заснула, едва коснувшись головой свернутой валиком старой стеганой телогрейки.

Якову не спалось на новом месте. В золе тускло мерцали не хотевшие угасать угольки. В щелке над дверью перемигивались две-три неяркие звездочки. Угольки будто дышат — разгораясь, бледнея и снова разгораясь. Но чем дальше, тем слабее их отблески. Мало-помалу они стали затухать и наконец погасли. Зато звездочки засияли, даже сделались как-то крупнее. Две звезды, одна над другой. И обе подмаргивают, словно манят куда-то, лукаво усмехаясь... Внезапно звезды тоже погасли... Снова загорелись... И опять погасли... Кто-то попросту заслонил их, вот в чем дело. Кто-то, подойдя к двери, прислушался — и тихо-тихо, с легким шорохом,

[1] Кесе - пиала

разодранной раны острая белая кость... Раньше эта картина, возникнув, неизменно вызывала у него дрожь во всем теле. Сейчас впервые такого не случилось. Все, что мерещилось ему, было туманно, расплывчато. И казалось страшным, но вряд ли происходившим на самом деле. Однако и тут у него навернулись слезы. Он заплакал – тихо, беззвучно. И, плача, заснул.

Снова ему приснился все тот же сон – как он бежит, но бежит один, а за ним, едва не касаясь черным брюхом земли, гонится самолет. У Якова уже подламываются ноги, вот-вот он рухнет на землю... И самолет настигает его. Сейчас он начнет стрелять, сейчас... Яков оглядывается, но видит своего отца. Это не самолет, а отец спустился с неба и обнимает, целует его в лицо. Губы у него мягкие... Надо лбом – пятиконечная звезда... Отец!.. Он снова целует Якова, но губы у него странные – жесткие, колючие. Целует он или кусает, царапает?.. Папа!.. Нет, он смотрит – это совсем не папа... Нет! На лбу у него черный крест. Это – фашист! У Якова затряслись поджилки. Он хочет бежать, но не в силах двинуться. Хочет крикнуть – нет голоса. А страшный человек целует его, кусает, царапает. «Узнай меня!.. Ты меня знаешь!..» Да, он видел, видел этого человека! Это – Дауренбек, он сопровождал их, ехал на саврасом коне...

– Кет!.. Прочь!..

Яков очнулся. Было уже темно. Апа вернулась домой. Увидев бычка, который просунул голову в юрту и облизывал спящего мальчика, она криком прогнала его прочь и принялась расталкивать Якова. Она гладила Якова по спине и, не-

громко смеясь, приговаривала что-то ласковое. Но он все дрожал, не мог прийти в себя.

Апа принесла кизяку, сложила посреди юрты и разожгла огонь. В чугунке, подвешенном к треноге, вскипятила молоко, подлила воды, снова вскипятила и насыпала в чугунок талкана. Сваренный суп, как понял Яков, назывался «кора коже». Апа наполнила две глубокие чашки. Одну, поменьше, поставила перед Яковом, вторую пододвинула к себе. Суп оказался Якову по вкусу. Он попросил добавки и выпил еще половину кесе[1].

Кровати в юрте не было. Апа постелила на полу. Якова она укрыла одеялом, до того износившимся, что ткань расползлась и во многих местах наружу торчала шерсть. Сама же она накрылась шубой и заснула, едва коснувшись головой свернутой валиком старой стеганой телогрейки.

Якову не спалось на новом месте. В золе тускло мерцали не хотевшие угасать угольки. В щелке над дверью перемигивались две-три неяркие звездочки. Угольки будто дышат – разгораясь, бледнея и снова разгораясь. Но чем дальше, тем слабее их отблески. Мало-помалу они стали затухать и наконец погасли. Зато звездочки засияли, даже сделались как-то крупнее. Две звезды, одна над другой. И обе подмаргивают, словно манят куда-то, лукаво усмехаясь... Внезапно звезды тоже погасли... Снова загорелись... И опять погасли... Кто-то попросту заслонил их, вот в чем дело. Кто-то, подойдя к двери, прислушался – и тихо-тихо, с легким шорохом,

[1] Кесе - пиала

просунул руку в щель. И пытается отстегнуть крючок. Рука, видно, не дотянулась, крючок остался в петельке. Но человек, скрытый темнотой, еще дважды пробовал добраться до запора. Наконец он прекратил свои тщетные попытки. Какое-то время его совсем не было слышно, и Якову показалось, что он ушел. Однако вскоре раздался глуховатый, с характерной хрипотцой голос:

– Сакып... Эй, Сакып...

Он звучал негромко, но Яков узнал его сразу – Дауренбек!..

Всю дорогу, пока они ехали, человек этот ни разу не улыбнулся, не заговорил ни с кем. Якову запомнился неприязненный, сумрачный взгляд, который он бросал из-под тяжелых век – то ли на него, то ли на сидевшего рядом Зигфрида. Хорошо еще, что с ними был тот добрый старик – наверное, начальник, и Дауренбек боялся при нем дать выход затаившейся злобе... Но теперь он явился ночью, подкрался к юрте... Яков лежал, боясь пошевелиться, ни жив ни мертв.

Дауренбек еще раз или два подал голос и опять просунул руку в щель. Крючок слабо звякнул, дверь скрипнула и отворилась. Яков закричал, Дауренбек, едва успев перешагнуть порог, застыл на месте. Тихо стонавшая во сне Апа проснулась, и Яков кубарем покатился к ней, юркнул под шубу, прижался к теплому боку. Что случилось потом?.. Он бы не смог ответить. Он чувствовал только, что теперь он в безопасности, Дауренбек не сумеет его выкрасть... Наверное, Дауренбек тоже понял это и страшно разозлился. Он пнул ногой чугунок, разлил остатки супа,

опрокинул чайник с водой. А выходя из юрты, полоснул по ее стенке камчой. Апа поднялась, ощупью отыскала, поставила на место чайник и чугунок, накрепко затворила дверь, потом легла, прижала к себе Якова и долго плакала. Яков, прижавший лицом к ее груди, слышал, как гулко билось ее сердце.

Утром он не решился остаться дома один, Апа взяла его с собой. Оказалось, она работает на хирмане. А тарахтенье, которое доносилось до Якова вчера, издавала машина, которую он здесь увидел. Называлась она молотилка. Вместе со всеми Апа подносила к ней пшеничные снопы и подавала человеку, который швырял их в железную, дрожащую от жадности пасть. В густой пыли, замутившей воздух над хирманом, только глаза у Апы блестели по-прежнему, а губы почернели, запеклись, и лицо было запыхавшееся, потное. Люди работали без передышки, молотилка им не давала ни минуты покоя. И лишь когда она стихала, подносчики опускались на землю, кто где стоял. Но тут появлялся Дауренбек... Больше других от него доставалось Апе. Но все помалкивали в ответ на его крики и попреки, молчала и она. Только молчала не как остальные, не потупив глаза, а глядя Дауренбеку прямо в лицо. Видно, ничуть его не боялась. И Яков его тоже не боялся – здесь, на людях. Знал, что у всех на виду его никто не посмеет тронуть, и бегал вокруг хирмана, гоняясь за кузнечиками.

А вечером, когда весь аул погрузился в сон, Дауренбек пришел к ним снова. Апа еще не ложилась. Дауренбек вел себя совсем иначе, не

как в прошлую ночь. И в голосе у него не было злобы – только укор и просьба, и даже мольба. Долго упрашивал он о чем-то. Но Апа не смягчилась. А когда он сделался слишком настойчив, разбудила Янова, который было прикинулся спящим.

Дауренбек ушел. Апа уже не плакала, как вчера. Только вздыхала. Долго вздыхала. До самого рассвета...

Через некоторое время Яков научился немного понимать по-казахски. И тогда оказалось, что Ану звали вовсе не «Апа», а Сакыпжамал. Но это сложное и длинное имя выговаривать ему было трудно, и, хотя он отлично понимал, что «апа» значит «мама», а Сакыпжамал никакая ему не мать, он продолжал называть ее по-прежнему.

Постепенно мальчик всем сердцем привязался к ней, и она уже не казалась ему чужой. Впрочем, не чурался он теперь и других жителей аула: они тоже, он чувствовал, не были для него чужими людьми. Первоначальная робость покинула его. Яков свободно, никого не боясь, разгуливал между юртами. Правда, он так и не сошелся поближе с ребятами, но как бы то ни было к жизни в ауле успел привыкнуть...

Едва посветлеет небо, перед юртой слышится конский топот. И зычный голос бригадира Бердена:

– Сакыпжамал!.. Эй, Сакыпжамал!..

А она уже не спит. Сидя на корточках, разгребает вчерашнюю золу, чтобы раздобыть тлеющие под ней угольки, раздувает их, подкладывает в огонь кусочки кизяка.

– Ау, кайнага[1]! – откликается она.

– Ах ты, шустрая! Уже проснулась?..

Конь под Берденом резвится, играет, и бригадир направляет его к соседней юрте.

– Кулиман!.. Эй, Кулиман!..

Никакого ответа.

– Эй! Кулиман! Поднимайся, засоня! Вставай, если не забрюхатела! Эй!

Из юрты доносится в сердцах брошенное крепкое словцо.

– Чего же ты, жилан, отмалчиваешься, если проснулась?.. Солнце встало, и ты вставай! – посмеивается Берден, и белоногий Актабан уносит его к следующей юрте.

– Бекет, эй, Бекет!

Здесь ему тоже не сразу удается добиться ответа.

– У-у, сорванец! Русские пацаны в твои годы сами на фронт просятся! А ты, выходит, бока отлеживаешь?.. Ай, Бекет, ай-ай!..

Из юрты по-прежнему ни звука.

– Встанешь ты наконец? Бекет, эй, Бекет!..

Видимо, Бекет отзывается, но что при этом он говорит – не слышно. Зато хорошо слышно, как Берден отвечает:

– Э-э, айналайын, в тринадцать лет мужчина – в доме хозяин, так что умывайся скорей да перекусывай!

И бригадир едет дальше.

– Вот окаянный Тлеубай! Настоящий единоличник! От всех отделился, юрту черт знает где поставил... И ведь нет чтобы самому вовре-

[1] Кайнага – обращение к мужчине, старшему родственнику мужа

мя подняться, тоже дожидается, пока разбудят... – ворчит Берден, направляясь к юрте Тлеубая, которая стоит в стороне от остальных, на краю аула.

Яков просыпается раньше всех и смотрит, щурясь, в дырочку, пробитую в войлоке. Ему все видно, все слышно. И только когда Берден исчезает из его поля зрения, он поднимается с постели.

Апа между тем уже подоила корову. Кизяк уютно потрескивает в очажке, мурлычет песенку закипающий чайник. Вот и самотканый дастархан разостлан на полу. Перед Яковом появляется кесе с остатками вчерашнего супа. Сама же апа пьет чай. Собственно, не то чтобы чай. Попросту кипяток, забеленный молоком. Потому и называется он аксу, белая вода. Зато пьет его апа в полное удовольствие – пять-шесть чашек подряд.

Только собрали дастархан – снова конский топот. Но на этот раз бригадир Берден не тратит времени на шутки, голос его звучит громко, властно.

– Сакыпжамал! Пора, выходи!..

– Кулиман, а Кулиман!.. Долго возишься!..

– Бекет! Хватит глаза протирать, светик мой! Тлеубай, что на краю света живет, и тот уже на хирмане...

– Торопись, торопись, поторапливайся! – покрикивает он перед каждой юртой.

Впрочем, сейчас и без того никому не придет в голову медлить. Люди вереницей, один за другим, тянутся на колхозный ток.

Яков тоже отправлялся поначалу на хирман, не желая далеко отлучаться от апы и каждую минуту ощущая ее успокоительную, привычную близость. Кроме того, были у него некоторые опасения по поводу Дауренбека... Но постепенно он убедился, что никакая беда ему не грозит, да и хирман прискучил. Поэтому, просыпаясь с рассветом, он частенько оставался дома. И с аульными ребятами свел знакомство, хотя не слишком короткое. Были среди них и его приятели по детдому, но дефект, сохранившийся у Якова в речи, вынуждал его сторониться сверстников.

Тем не менее у него, предпочитавшего играть в одиночку, были свои развлечения, свои заботы. То прокатится верхом на теленке, то отправится сторожить корову. Иной раз возьмет мешок и уходит собирать кизяк. Вроде и забава, и дому помощь. Апа довольна, да и остальные, глядя на Якова, улыбаются. Уж на что суров к нему Дауренбек, так и он, завидев однажды, как Яков, пыхтя, волочит на себе мешок, полный кизяка, пробормотал, по-видимому, что-то одобрительное.

С первым снегом Сакыпжамал перебралась на одну из колхозных зимовок, поближе к овцам. Глинобитная мазанка, до половины врытая в землю, стояла у подножия высокой горы, как бы наглухо отгораживающей ее обитателей от остального мира. По эту же сторону, куда хватит глаз, простиралась плоская равнина, где на тридцать-сорок километров не встречалось примет человеческого жилья. Если бы не отара, бредущая спозаранок в степь, не рассыпанный по снегу овечий помет и не следы диких зверей, –

равнина, насквозь продуваемая ветром, вообще казалась бы мертвой. Весь день кружится над загоном стая пестрокрылых сорок. Всю ночь заунывный волчий вой оглашает предгорья. Сороки да волки – единственные вестники жизни, которая продолжается где-то за пределами зимовки, ее однообразного, унылого существования... Впрочем, людям и здесь некогда скучать от одиночества, изнывать в тоскливых мыслях.

Сакыпжамал ухаживает за ослабшими овцами, ягнятами, козами, которым отведено место за плетеной изгородью, на солнечной стороне загона. То сено им подбрасывает, то загон чистит, то гонит к роднику на водопой. От вечно вздыхающей и охающей старухи чабана Кобегена ждать помощи не приходится. Зато присматривать за овцами Сакыпжамал помогает Яков, или Жакып, как произносят его имя на казахский лад жители аула. Покончив с хлопотами по зимовке, Сакыпжамал запрягает в волокушу быка с рваной ноздрей и принимается за подвозку сена. Яков едет с нею вместе. Стоя на волокуше, он укладывает, уминает шестом с развилиной на конце подаваемое ему сено, – чем он еще в силах помочь?.. Но ему представляется, что делает он важное, серьезное дело, без него Сакыпжамал не обойтись... И домой возвращается очень довольный собой.

Все четверо живут в одном домишке. Главную, «гостевую» комнату занимает Кобеген с женой, вторую – Сакыпжамал и Яков. По деревянной кровати, старому сундуку, выцветшим, сложенным горкой одеялам можно судить, кто из

них и где устроился. Но живут они сообща, вместе обедают, пьют чай, коротают долгие вечера.

Яков любил эти вечера, – овец запирали на ночь в загоне, и все собирались в одной комнате.

Старуха, жена Кобегена, только и знала, что подкладывала топку в огонь и следила за чайником. Сакыпжамал крутила ручную мельницу или толкла поджаренные пшеничные зерна. Иногда она мяла курт, а когда хватало муки, раскатывала тесто под лапшу. В центре комнаты, на покоробившемся от времени круглом приземистом столе светился фитилек, пристроенный внутри надколотого кесе. Возле стола, на кошме, располагался Яков, а у печки, на козьем тулаке, восседал, по-турецки подвернув ноги, сам Кобеген. Отогревшись чаем, он блаженно жмурился, поглаживал лоб, покачивался всем телом из стороны в сторону и наконец, не глядя на истомившегося от нетерпения мальчика, начинал низким, густым голосом:

– Давным-давно это было... Еще той порой, когда волк ходил в больших начальниках, а лиса у него была телохранителем...

Так начинал он, всегда одними и теми же словами, но каждый раз за ними следовала новая сказка.

И не было случая, чтобы, когда старый Кобеген принимался за сказку, жена его не фыркнула:

– П-шшш... Нашелся рассказчик!

Но Кобеген как будто ее и слышать не слышал.

Расчешет усы, разгладит бородку и заводит скороговоркой:

– Жил в те давние времена один бай, дал ему бог множество скота, только не дал сына...

Или:

– Жил в те давние времена один бекзада, и отправился он по свету искать себе невесту, красивейшую из самых красивых, достойнейшую из самых достойных...

Или:

– Жил в те давние времена один сирота, ходил он, босоногий, в Багдаде по базару и горько вздыхал: «Что мне делать?.. Ума у меня много, а в кармане ни динара, одни дырки...»

– Какая кому польза от этих твоих богачей и батыров, сыновей беков и босяков-голодранцев? – не унималась старуха. – Что тебе до базара в Багдаде?.. Сидел бы себе да хлебал суп, а не задуривал нам головы небылицами!..

И верно, до сказок ли было ей, когда день-деньской не отходила она от очага? До сказок ли Сакыпжамал, если у нее забот по горло? Да и Жакып, не слишком-то усвоивший казахский язык, способен был понять сказку лишь в самых общих чертах.

– ... И вот, повстречав своих родителей, обрел он покой души и тела, – заканчивал Кобеген.

Или:

– ... И вот, сыграв свадьбу, которая продолжалась сорок дней, затеяв праздник, который продолжался тридцать дней, добился он исполнения всех желаний.

Или:

– ... И вот сделался он для людей опорой, для своей страны защитником.

Так тянулись вечера. И расходились все четверо только тогда, когда наступало время ложиться.

Старуха, охая и стеная, забиралась на скрипучую деревянную кровать и всю ночь ворочалась, проклиная попеременно бога и людей.

Старик Кобеген укладывался на торе[1]. Он с головой заворачивался в тулуп из черной овчины и тут же начинал храпеть. Ночью два-три раза он поднимался, прохаживался вокруг землянки, будил и взбадривал собак. Громкий лай сплетался с низким распевным баритоном Кобегена, и горное эхо возвращало эти звуки, многократно их повторив.

Яков и Сакыпжамал устраиваются в своей комнате у печки. Сакыпжамал, как и жена чабана, всю ночь проводит неспокойно. Хотя никого при этом не ругает, не проклинает. Просто потихоньку вздыхает, вздыхает... Или уткнется лицом в подушку и стонет. Иной раз в очереди с Кобегеном обойдет скотный двор, наведается к овцам. Якова она никогда не зовет с собой, но он встает вместе с Сакыпжамал и выходит во двор.

Морозной ночью, когда на выстывшем черном небе даже звезды, кажется, озябли и дрожат от холода, Сакыпжамал и Яков стоят рядышком, глядя на уходящую вдаль темную гряду гор, и так же, как старый Кобеген, криком ободряют заскучавших собак и пугают волков. Только странно – собаки не отзываются, не лают им в ответ. Знай полеживают себе, свернувшись клубком, на соломе, с подветренной стороны.

[1] Тор – почетное место в глубине юрты для самых почетных гостей или старших

Подойдешь к ним – только вскинут голову да помашут хвостом. Ну что ж, Сакыпжамал и Яков их не беспокоят. Хочется им полежать, подремать – пускай себе дремлют... Накричавшись до хрипоты, на страх волкам, они возвращаются в дом, промерзшие, издрогшие.

Первым поднимается на заре Кобеген. За ним – Сакыпжамал и Яков. И наступает каждодневная жизнь, полная нескончаемых трудов и скудных радостей.

Яков тоже занят с утра до вечера. Но по-настоящему он устает разве что в те дни, когда чистят загон. Обычно же там, где взрослые валятся с ног, у него, малолетки, сохраняются и силы, и бодрость. Но весной дел прибавилось. Начался сезон окота. Все связанные с этим заботы легли на плечи Сакыпжамал и Якова. Кобеген уходил с отарой на пастбище, от жены его проку было мало, вот и хлопотали они вдвоем. Сакыпжамал ухаживала за истощенными животными, едва дотянувшими до весны. Присматривать за приплодом, подпускать его к маткам, возиться с новорожденными ягнятами выпало на долю Якова. И все же, как ни тяжело ему порой приходилось, многое в кругу его теперешних обязанностей нравилось мальчику. А при виде жалких, беспомощных ягнят на хилых ножках у него теплело в груди, он чувствовал себя большим, сильным... В те начальные весенние дни у Сакыпжамал тоже стало веселей на душе. И даже ворчливая, угрюмая старуха Кобегена реже воссылала богу свои проклятия.

Небо расчистилось, целыми днями с голубой вышины светило яркое солнце. Снег лежал

только по горным склонам. В низине над прогревшейся землей курился сизый парок и вокруг загона пробивалась молодая травка, да такая зеленая, что глазам не верилось. Яков выпускал сюда своих ягнят и козлят, они резвились на весеннем солнышке, и он с ними... А по вечерам, как и прежде, Кобеген рассказывал сказки, Яков про себя считал, что он – приемный сын Сакыпжамал и Кобегена. Так ему все чаще казалось...

Но подошло время, когда Кобеген повал отару на горное джайляу[1]. Сакыпжамал с Яковом перебрались в сенокосную бригаду. Здесь она стала работать копнильщицей.

Забывались и Кобеген, и его сказки. Яков подружился с ребятами и целые дни играл в асыки. Он уже не чувствовал себя чужим, и с теми, кто хотел бороться – боролся, кто хотел драться – дрался. Все куда-нибудь бежали – и он бежал, все кричали – и он кричал. С ним затевали спор – он тоже не лез в карман за словом. Короче, за год он вполне свыкся с аульной жизнью, а что до языка, то почти все услышанное он понимал и сам без особого труда мог выразить любую мысль. Правда, про себя, не вслух. Речь его по-прежнему спотыкалась на некоторых звуках. Но ребята уже привыкли слышать от него вместо «асык» и «сака» – «атык» и «така», они этого попросту не замечали.

И все же, как бы там ни было, Яков предпочитал где можно смолчать, не подавать голоса...

За сенокосом последовала жатва.

---

[1] Джайляу – летнее пастбище

Когда убрали урожай, Сакыпжамал вернулась на старую зимовку, и Яков, разумеется, с нею.

Так шло время...

На третий год, осенью, в тот день, когда землю покрыл первый снег, умерла жена Кобегена. Последний месяц она не поднималась, ночами стонала, бредила: «Пшшш... Сказки... Тебе ли рассказывать сказки... Кому твои сказки нужны... Кому ты сам нужен...»

На зимовку как раз в тот день приехал Дауренбек и с ним еще несколько человек – переписывать скот. Двое из приехавших вместе с Кобегеном отправились рыть могилу неподалеку от зимовки, рядом со старым, полуобвалившимся мазаром. Земля здесь была твердая, каменистая, пришлось промучиться до позднего вечера. Схоронили старуху лишь на следующее утро. Потом Дауренбек со своими людьми закончили пересчет поголовья и уехали на другую зимовку. Кобеген выгнал своих овец пастись. Сакыпжамал вдвоем с Яковом остались в опустевшем дворе...

Пока старуха была жива, ее мало замечали. Ворчала себе, кряхтела, – никто не прислушивался к этому кряхтенью, не отвечал на бранчливые слова. Но вот старухи не стало, и в доме сделалось как-то пусто. Почувствовали это и Кобеген, и Сакыпжамал, и даже Яков. Вечерами Кобеген уже не усаживался, скрестив ноги, не раскачивался, зажмурив глаза, подыскивая новую сказку... И у Сакыпжамал опустились руки, свою ежедневную работу исполняла она без прежнего старания, кое-как. Яковом

одолели лень и сонливость. Зима тянулась без конца...

К весне, заметил Яков, в доме случились некоторые перемены. Однажды вечером Кобеген снова начал рассказывать свои волшебные истории... Сакыпжамал стелила себе теперь не там, где спал Яков, а рядом с Кобегеном.

Но вот странность. Прежде Кобеген всегда имел в запасе новую сказку, и не было такого, чтобы он возвращался к рассказанной. А этой весной что-то с ним стряслось. То начнет сказку, которую слышали от него два-три дня назад, то и вовсе запутается – возьмет у одной начало, у другой конец... Изменился нрав и у тихони Сакыпжамал. По каждому поводу ворчала она, покрикивала на Кобегена. И все меньше обращала внимания на Якова, – в ней словно что-то угасло, приглохло...

Раньше, бывало, Кобеген и ухом не ведет на воркотню своей старухи. Теперь же стоит Сакыпжамал шевельнуть бровью – он и оробел, а скажет сердитое слово – старик и вовсе потерялся. Вечером лежат они, отвернувшись друг от друга, каждый под своим одеялом. Однако их постели располагались рядом, и Яков думал, что на летнее джайляу отправятся они вместе с Кобегеном. Вышло иначе. Они перебрались в сенокосную бригаду, а Кобеген ушел со своей отарой один.

Вскоре и Якову пришлось на себе испытать одиночество. Запряженные в сенокосилку быки взбунтовались. И Сакыпжамал, бедняжка, угодила под косу... Когда она умерла, Якову сделалось горько, тоскливо, но он не плакал.

То ли потому, что Сакыпжамал никогда не имела собственных детей, то ли потому, что Яков был уже не малый ребенок, а сама она была еще так молода, то ли потому, наконец, что не нашли друг для друга внятного языка их души, угнетенные – каждая своей – печалью, но, как там ни объясняй, не сроднились они, не стали сыном и матерью. Пока жива была Сакыпжамал, Яков чувствовал себя сиротой, которого приютила дальняя родственница. Тем более в последние месяцы... И все же истинный смысл слова «сирота» Яков постиг лишь теперь, оставшись без Сакыпжамал.

Раньше у него был свой дом, своя, хотя бы и маленькая, юрта. Здесь он мог без спроса брать что хотел, и есть сколько хотел, не испытывая голода и не ценя сытости. Но вот ему довелось жить в чужой юрте, и накрываться чужим одеялом, и есть не когда захочется, а когда разрешат, усадят вместе с собой... Раньше для любого в ауле он был полноправным сыном Сакыпжамал. Кем был он теперь?..

Лето кончилось, люди стали разъезжаться по зимовкам, он присоединился к кому-то и добрался до Кобегена.

Старик жил вместе с семейством вернувшегося в прошлом году фронтовика. Он сильно изменился – похудел, осунулся, только и остались на осохшемся лице его костистые, выпирающие скулы да мутноватые, как бы выпученные глаза. Все молчит, молчит, а скажут ему что-нибудь – не расслышит. А расслышит, так в ответ только кивнет или покачает головой... Но приезду Якова он обрадовался: на ночь укладывал ря-

дом, подсаживал в седло, выезжая пасти овец. И Яков снова почувствовал себя человеком, имеющим собственный кров и стол. Но не надолго. Вскоре и Кобеген отправился следом за своей женой и Сакыпжамал. В середине зимы, ранним утром, его нашли повешенным в глубине овчарни.

Вот когда у Якова из глаз хлынули слезы... Он рыдал, оплакивая смиренного Кобегена. И несчастливую Сакыпжамал. И собственную мать, умершую в луже крови, которая вытекла из ее тела, из ее страшных ран.

Плакал он и по ворчливой старухе, изголоданной болезнями, простонавшей половину жизни на своей деревянной кровати. Но больше всего плакал он о себе самом, хотя навряд ли понимал это... Плакал – и не мог остановиться...

Это были его последние в отрочестве слезы. Суровая жизнь рано закаляет сердце. Якову шел четырнадцатый год, когда он почувствовал себя взрослым, вполне самостоятельным человеком, у которого достаточно сил, чтобы обеспечить собственное существование. И в самом деле, благодаря свежему воздуху и физической работе он вытянулся, выглядел крупнее своих сверстников, у него были крепкие, ловкие, привычные к любому труду руки. В те годы на таких ребят смотрели как на равноправных членов колхоза.

Все лето он убирал сено в копны. Осенними днями, увязая в грязи, помогал ремонтировать старые зимовки. В морозы чистил загоны для овец, возил сено, – словом, делал все, что придется. За несколько лет он превратился в рослого, плечистого парня с грубоватым, обветренным

лицом и несколько угрюмым, а может быть, просто застенчивым взглядом.

Повзрослев, он принялся за розыски родителей, точнее – отца. И попытался выяснить, где он сам родился, откуда попал в детский дом. Какая, наконец, была у него настоящая фамилия. Но на все запросы следовал одинаковый ответ: неизвестно, неизвестно... Выходит, не зря его назвали в детдоме Яков Неизвестный.

А по казахским понятиям – безродный. Не имеющий своего рода-племени. Так сказать, найденный средь дороги. Ему не хотелось мириться с этим. Но все-таки кто же он тогда? Иванов? Или, может, Петров? Или Сидоров?.. Неизвестно. Может, и так, может, и этак... Одним словом, Яков Неизвестный... Поразмыслив, он выдумал себе фамилию: Сакыпжамалов... Нет, женское имя тут не годится. Кобегенов... Пожалуй, Яков Кобегенов... Так его и записали в документах.

Шли месяц за месяцем, год за годом. Имя его приобрело более удобную для произношения форму «Жакып» и в этом виде закрепилось за ним. И между собой уже не называли его ни «орыс», что значит «русский», ни «жойыт», что значит «еврей». Он стал, как и все аульчане, смуглым от солнечного загара, и прищуривал глаза на остром степном ветру, и ходил в стеганых штанах и шубе из овчины. В колхозе Жакыпа знали как парня трудолюбивого, добросовестного, который не имеет привычки уклоняться от поручений заведующего фермой или бригадира. За что ни возьмется, все сделает быстро, аккуратно. Потому чуть где прорыв – сейчас же туда

Якова, где какая дырка – кроме Якова и заткнуть ее вроде бы некому. Иные, глядя на него, усмехались, называя «чокнутым», другие ставили в пример. «Завести бы парню свою кибитку, – говорили о нем, – зажить своим домом, как и все...» И нашлись доброхоты, начали подыскивать для Жакыпа невесту.

На примете у них оказалась повариха Полина. Несколько лет назад появилась она по какому-то случаю в ауле и с тех пор жила здесь, никуда не уезжая. День-деньской крутился возле Полины, рядом с казаном, шустрый черноглазый мальчуган лет шести. Сама же она была, как говорится, видная женщина, с широкими бедрами, тугими икрами, с пышной короной золотистых волос на голове.

Но едва зашла речь о сватовстве, Полина тут же отмахнулась:

– Нужен мне ваш заика!.. За такого замуж? Да боже меня сохрани!..

Вернулись от нее сваты как в воду опущенные и опять стали думать, какую бы невесту в ауле для Жакыпа подыскать.

Сам же он в то время меньше всего был озабочен этим. По-прежнему замкнутый, сосредоточенный в себе, он задавался совсем иными вопросами и пытался найти на них ответ.

Кто он, зачем живет, чего хочет в жизни добиться, кем будет завтра, через год, через десять лет? Все люди вокруг живут, как и он: пасут скот, косят сено, убирают урожай, и так год за годом, – старые и молодые, мужчины и женщины, и нет им покоя и отдыха ни летом, ни зимой.

А между тем ведь можно жить и по-иному. Об этом, он слышал, толковали геологи, все лето искавшие руду и раскинувшие свои палатки на джайляу, рядом с аулом.

Странным казалось им, что он, русский человек, живет один-одинешенек в казахском ауле. И они, приглашая Жакыпа к своему костру, расспрашивали, каким образом он здесь оказался, и рассказывали о местах, где жизнь для него куда привычней, где есть, например, овощи, и фрукты, и многое другое, особенно в больших городах. Правда, из-за того, что Яков не был силен в русском, они не вполне понимали друг друга. Но геологи, полагая, что всему виной глуховатость Якова, терпеливо ему все разъясняли. Он же уловил главное: городская жизнь - совсем другое дело; работаешь по часам, когда положено - отдыхаешь; в субботу - короткий день, в воскресенье нет работы, один месяц в году опять же отдыхаешь; и притом столовые всюду, рестораны, еда, какая хочешь, в любой момент; на каждом перекрестке - кино, театры, короче, все, о чем только можно мечтать. Так что же его здесь держит?.. Да здесь, говорили ему, и собаку привяжи - она веревку перегрызет и сбежит.

И тут задумался Яков, задумался впервые в жизни над тем, что он - человек другого народа, другой национальности. Снова ожили в душе затуманенные картины прошлого, вспомнились отец, мать... Даже имен их он не знает. Мать умерла, отец, даже если жив, никогда с ним не встретится. Нет у него никого в целом свете. Только о себе и остается ему думать, только для себя жить. Ну а его нынешняя жизнь - какая это жизнь? Все тут чужое, ничто не держит, надо уходить. К людям, которые как-никак твои соплеменники, что ли, собратья по крови, по языку, хотя и не родные, конечно...

Сам ли Яков додумался до таких мыслей, другие ли подсказали - он бы не ответил.

Но, как бы там ни было, мысли эти прочно засели у него в голове. И он решил уйти, податься в город.

Правда, сделать сразу это ему не удалось. Его не хотели отпускать в разгар летней страды. Пришла осень. Якова отговаривали, пытались удержать. Но он не слушал ни наставлений, ни добрых советов...

* * *

Миновал год. По слухам, достигшим аула, Жакып объявился в Сартереке - райцентре. Кто-то его там видел, кто-то с ним говорил...

Рассказывали о нем всякое. И что документов у него каких-то не оказалось, не смог устроиться в городе - вот и вернулся. И что не в документах дело, а в том, что по-русски Жакып знает плохо, вот и не прижился. И что, напротив, живется ему в городе хорошо, а теперь он просто приехал в отпуск... Словом, чего ни болтали, каких догадок ни строили... Пока в один прекрасный день в аул не заявился сам Яков.

Одет франтом. Нейлоновая белая сорочка, на груди - галстук, повязанный по моде, широким узлом. Костюм новый, коричневый, только брюки слегка отвисли в коленях и складки в до-

роге примялись; на голове – шляпа с полями, от них по лицу мягкая тень. Летний плащ свисает небрежно с левой руки, в правой – чемодан, блистающий «молнией» и медными застежками. А сам-то – и волосы длинные отпустил, и усики завел...

Совсем не тот Жакып, какого знали! Один человек уехал – другой приехал!..

Люди-то, понятно, узнавали его сразу, хотя здоровались поначалу отчужденно, с прохладцей. Но двух-трех своих сверстников, самых близких, Яков дружески обнял, притиснул к могучей груди, стариков уважительно похлопывал по спине, детей целовал в крутые щечки, улыбаясь при этом, что-то радостно бормоча... Не только обликом переменился Яков, что-то непривычное прорезалось в его характере...

Он побывал гостем в каждой семье. Чемодан его, оказалось, был набит пачками индийского чая и всевозможными игрушками. Чай – для старых, игрушки – для малых...

И люди удивлялись: «Апыр-ай, город и вправду, выходит, уму-разуму каждого учит?.. Всего какой-нибудь год прожил там наш Жакып, а уже многого достиг...»

И, забыв, как год назад осуждали Якова, вздыхали: «Э, что у нас тут есть? Потому только и сами живем, что родная земля...»

И ждали, когда соберется он в обратный путь, чтобы поднести ответные подарки.

Но случилось такое, чего никто не предвидел. Отдохнув несколько дней, вдоволь отведав кумыса и мяса, Яков как-то утром облачился в новенький синий комбинезон, до того лежавший

на дне чемодана, и вышел со всеми стоговать сено. Так было и на завтра, и на третий день...

А вскоре Яков снова удивил весь аул, и на этот раз тем, что поселился в доме у старой Кулиман. Та самая Оля, которую Кулиман взяла на воспитание, порядком засиделась в девушках. И вот однажды на косьбе, где она работала копнильщицей, дождавшись полуденного перерыва, Яков подошел к ней и сказал...

Что и как он сказал, никто, разумеется, не слышал, никого в то время рядом не было. И потому не станем выдавать за истину вольные догадки и шутки аульных остряков. Суть не в том, что Яков сказал, а в том, что он сделал.

А сделал он все, как положено: съездил со своей невестой в райцентр, привез свидетельство о браке и в тот же день устроил скромный свадебный той.

Только теперь убедились люди, что Жакып вернулся в аул насовсем и никуда уезжать отсюда не собирается.

РУСЛО

В те времена я только начинал работать в газете, и вот накануне Дня Победы мне дали задание – написать очерк о ветеране-фронтовике. Причем о таком, который еще не привлек внимания нашей журналистской братии. По совету редактора я собрался и заплагал к городскому госпиталю инвалидов Отечественной войны.

Главный врач сразу понял, кого я ищу, и назвал мне Тогрыла. По его словам, за двадцать

лет ему довелось перевидеть множество пациентов, но такого стойкого, волевого, такого жадного к жизни он не встречал... Что ж, отлично!

Тогрыл играет в шашки, сказали нам, поищите его в саду. Я удивился. Ведь только что я слышал, что у него нет обеих рук и ноги. Как он играет? Допустим, кто-то двигает за него фигурки, но какая радость ему от подобной игры?.. И вообще, как он ест, как одевается? Что это – существование или жизнь?..

Он сидел за врытым в землю, грубо сколоченным столом спиною к нам. Подходя, мы услышали раскатистый, добродушный хохот. Полный бритоголовый казах, похожий на Котовского[1], вдруг вскочил со скамейки напротив и начал дрожащими руками застегивать на груди халат.

– Ойбай, Саке, простите... Так уж вышло: зазевался – и выиграл, – сквозь смех оправдывался Тогрыл. – Ей-богу, нечаянно!.. Давайте не будем эту партию засчитывать?

– Э, что с тобой поделаешь, – насупился Саке. – Как ни играй – все равно проиграешь. – Он взял свою палку, прислоненную к столу, повернулся и пошел прочь. В его торопливой прихрамывающей походке чувствовалась нешуточная обида.

– Сам виноват... Не надо было зевать... – сокрушенно повторял Тогрыл.

Нам с доктором оставалось только улыбнуться, глядя на ребяческие огорчения двух взрослых людей.

[1] Григорий Котовский – герой Гражданской войны в России

– Я привел вам нового партнера, Тока, – сказал главврач.

Только теперь Тогрыл повернулся к нам. Волосы у него были совершенно седы, и брови казались как бы осветленными инеем. Но глаза живые, с острым, пристальным взглядом, – судя по лицу, ему не перевалило еще за пятьдесят. И его инвалидность была на вид не похожа на ту, какая мне представлялась. Одна рука, правда, была срезана по самое плечо, на другой недоставало лишь кисти. Культя напоминала разведенные ножницы. Выглядела она неуклюжей, и в первый момент я усомнился, что ею можно пользоваться. Но тут же понял, что ошибся. Тока двумя своими «пальцами» принялся расставлять шашки на доске и делал это быстро, ловко. «Пальцы», разумеется, уступали природным в гибкости, да и было их не пять, а два, но приноровившегося ими владеть человека нельзя было назвать беспомощным.

Мы с Тогрылом без труда нашли общий язык. Нрав у него оказался открытый, легкий, характер простой и бесхитростный. Я услышал, как он на протяжении двух лет после ранения находился на грани жизни и смерти, какие муки выпали ему на долю, как хирурги думали ампутировать и эту последнюю культю, в которой засел осколок снаряда, и как он, не согласившись, решился на сложнейшую операцию – и она закончилась успешно. Ничего не скрывая, он рассказывал мне про свои страдания, телесные и душевные, про то, как несколько раз умирал и воскресал заново и как, случалось, обессилев от непрекращающихся муче-

ний, рыдал среди ночи, упав лицом в подушку.

Не помню, сколько партий мною было проиграно, но после двух-трех встреч я собрал весь необходимый для очерка материал.

В молодости перо, как говорится, само бежит по бумаге. Очерк был написан, и, на мой взгляд, довольно удачно. Не только на мой, впрочем, но и на взгляд жены, которой читал я его трижды. Пыл соединившей нас любви успел к тому времени поутихнуть, но в том, что я умею писать, она еще не сомневалась. И была рада, услышав, что за такой материал я получу по меньшей мере пятьдесят рублей.

Однако редактор очерка не одобрил, обнаружив в нем множество изъянов. Кто он, мой герой, что за человек, какие у него заслуги? Танк подбил или дзот разрушил? А ордена – сколько у него орденов? Ну, допустим, он явил пример духовного, так сказать, подвига. Но ради кого, в конце-то концов? Ради чего? Ради собственной жизни – так получается? Но какая польза от этого обществу?.. Да, о многом я не подумал, беседуя с Тогрылом, и столько труда прошло прахом. К тому же я получил выговор за то, что не подготовил столь нужный для газеты материал. Выговор был, правда, устный, да что с того?.. Выговор есть выговор.

Но мучило меня другое – не труд, пропавший понапрасну, не выговор, полученный на виду у всей редакции. И что там жена, которая лишилась гонорара, уж ее я как-нибудь утешу, не в этом дело... С каким лицом покажусь я Токе?.. Ведь я обещал, что не сегодня-завтра очерк опубликуют. Не зря говорится: наш язык –

источник всех бед... Хоть не показывайся Тогрылу на глаза! Но в конце концов я решил свалить вину за свои злоключения на редактора и с тем отправился в госпиталь.

Тогрыл прогуливался по саду. Подобно многим, кто вынужден пользоваться протезами, он двигался по аллейке как бы вприпрыжку, короткими бросками посылая вперед свое крупное тело. Рядом с ним я увидел интеллигентного вида молодого человека, судя по всему городского жителя. Времени у меня было в обрез, я не стал выжидать, пока Тогрыл окажется один, и прямиком направился к ним. Видно, свидание уже закончилось, и незнакомый парень, завидев меня, стал прощаться.

Я услышал последние слова:

– Хорошо, ага... Но дней десять вы у нас обязательно должны погостить. А то Балым обидится...

Я поздоровался с Тогрылом и его гостем, который кивнул мне довольно холодно, повернулся и пошел к выходу из больничного сада.

– Только позвоните, и мы за вами приедем, – крикнул он, обернувшись напоследок, и помахал рукой.

Я удивился. Он очень чисто говорил по-казахски, хотя было видно, что это не казах. Скорее татарин, башкир или чуваш, а возможно, что и русский. Но не успел я и рта раскрыть, как Тогрыл удивил меня еще больше.

– Дети просят меня к ним перебраться, – сказал он, глядя вслед молодому человеку, который уже скрылся за поворотом, – каждый

год просят... Я бы и сам не прочь перевхать. Да как быть, привыкли мы к степи. Без зеленого луга, без желтого кумыса что для нас за жизнь? Приедешь погостить – и то не знаешь, куда от тоски деваться. На будущий год хочу сюда Болата своего отправить. Будет учиться и жить у своих.

– Наверное, это зять к вам приходил? – спросил я.

– Нет, младший брат, – ответил Тогрыл. – Родной мой братишка.

– А как его зовут?

– Рашит.

Младший брат... Скорее всего, отец один, а матери разные, решил я. Можно было бы ограничиться этой догадкой, да ведь у нас, казахов, каждый как начнет с имени, так уж не отступится, пока не дойдет до седьмого колена. Я тоже ударился в родословную.

– Видно, лицом он в нагаши[1] пошел...

Тока вспыхнул. С моей стороны эти слова были, конечно, бестактностью, но я слишком поздно сообразил, какого дал маху... Пришлось извиниться, памятуя и о куда более серьезной вине, отягчающей мою душу...

Тока, впрочем, быстро успокоился.

– Это ты меня извини, дорогой, – сказал он, кладя мне на плечо свою культю. – К тебе никаких претензий быть не может. Факт налицо, так сказать... Просто о том, что Рашит другого рода, мне никто еще не говорил, ни знакомые, ни чужие. Так что и вопрос твой не от глупости или злого умысла, а от... неосторожности,

[1] Нагаши – родственники по материнской линии

что ли, неосмотрительности... А дело вот как было, голубок...

И Тогрыл рассказал мне о Рашите и еще нескольких ребятах-сиротах, которые во время войны прибыли в отдаленный казахский аул и там нашли себе новых родителей. Он не вдавался в подробности и лишь коротко познакомил меня с этой историей. Меня она захватила. И захватила не сюжетом, не остротой и своеобразием ситуации, а прежде всего самим смыслом рассказанного. Вот он, поистине бесценный для журналиста материал о дружбе народов, – пишут на эту тему много, но как-то слишком общо, сухо! А тут... Новый очерк сам плыл мне в руки, а вместе с ним – и возможность оправдаться перед Тогрылом и редакцией за все мои грехи. Только надо собственными глазами увидеть и этот далекий аул, и будущих героев...

О новом замысле я торжественно доложил редактору. И, не дождавшись Тогрыла, который гостил в это время у своего младшего брата, отправился в путь. На сей раз, исходя из своего стремительно возрастающего журналистского опыта, я сдержался и не стал обещать ему заранее, что случайный его рассказ послужит темой для очерка, который вскоре потрясет сердца читателей...

Мне повезло. Всех, кто мне был нужен, я застал в ауле.

Мальчик Зигфрид, о котором я услышал от Тогрыла, оказался зрелым мужчиной тридцати с чем-то лет, главным зоотехником совхоза Зигфридом Вольфгановичем Бегимбетовым. Жена его работала учительницей. Она закон-

чила Казахский государственный университет за год до того, как я в него поступил. У нас нашлось немало общих знакомых. Я разговаривал с этой приветливой, мягкой женщиной и думал при этом, что наши матери, а еще больше – бабушки были в чем-то похожи на нее. В душевной широте, пожалуй, в чувстве собственного достоинства и какой-то природной тонкости в обращении с людьми... А как вкусно она готовит! Как чисто и опрятно у нее в доме, наполненном детьми!.. Я насчитал их то ли семеро, то ли восьмеро, шустрых, с шумом и гамом носившихся друг за дружкой, и сбился со счета... Все они были просто загляденье – кожа светлая, но со смуглинкой, глаза карие, горячие... Вспомнив о собственной жене, которая, дай бог ей здоровья, и одним-то ребенком тяготилась, я спросил, не трудно ли растить такую ораву. Она засмеялась. Да уж не легко... Когда жив был дедушка, было легче. Но аксакал Ахмет, после смерти своей байбише переселившийся к детям, умер три года назад.

Якова мне помогли отыскать в сенокосной бригаде. Мне думалось, нам не так-то просто будет разговаривать, но мои опасения не оправдались. Я быстро освоился с его речью, да и он, преодолев первое смущенье от встречи с незнакомым человеком, если и заикался, то не столь уж часто.

Когда я был у Якова дома, туда пришел один из руководителей совхоза – аксакал Дауренбек. Он позже других услышал весть о приезде журналиста из Алматы. Иначе они встретились бы раньше, сказал Дауренбек, ведь

он как-никак инвалид Отечественной войны, уважаемый в этих местах человек, немало потрудившийся на благо колхоза, и представителю редакции должно быть интересно... Вот именно, сказал я, очень интересно... И начал задавать вопросы, которых стало еще больше, когда выяснилось, что как раз этот человек привез детей в аул. Малыши были, вздыхал он, совсем еще малыши... Что значит время! Не успели оглянуться, как босоногие сорванцы сделались настоящими мужчинами, отцами семейств... Да, не зря о них в те годы столько заботились, воспитывали – не в одиночку, а всем коллективом... Не зря! И вот, пожалуйста, плоды общего нашего труда...

– Вот этот карапуз, – улыбнулся Дауренбек, показывая на сынишку Якова лет пяти, – от горшка два вершка, так ведь говорится?.. Ну а попробуй угадать, кем он будет лет через пятнадцать-двадцать?.. Бахыт, иди-ка сюда!..

Но мальчуган не захотел идти к Дауренбеку.

– Ах ты упрямец, – сказал кто-то из сидевших в комнате, – ах ты озорник... А ну-ка, Бахытжан, скажи дяде из Алматы, кто ты?

– Кто ты, айналайын? – подхватил я.

– Отец – русский, мать – калмычка, а сам я – татарин, – ответил малыш.

Все рассмеялись.

– И отец, и мать у тебя – казахи, а сам ты – дурачок, – сказал кто-то.

А еще кто-то возразил:

– Смех смехом, а что мальца с этаких пор приучают свой род различать – это ни к чему...

– Ничего, – возразил Дауренбек, – сегодня помнит – завтра забудет... Но вот о чем, сынок, никогда не забывай: отец у тебя может быть русский или немец, мать – казашка или калмычка, это не так уж важно, главное, что ты – советский... Вот это запомни накрепко и никогда не забывай...

Он порядком поблек и усох, старина Дауренбек, но голос его был еще звучен и тверд. Чувствовалось, энергии у этого человека хоть отбавляй. Он в полную мою власть отдал служебную машину и до тех пор, пока я не уехал, постоянно был рядом со мной. Большинство необходимых сведений я почерпнул у Дауренбека. И должен заметить, он рассказывал мне все, как было, ничего не утаивая. Только расспросы о гибели Нартая и Ертая вызвали у него что-то похожее на смущенье. Отвечал на них он без особой охоты. Единственное, что я от него услышал, сводилось к следующему. Берден до самой смерти горевал о своей тяжкой утрате, весть о гибели Ертая оказалась для него горше, чем потеря двух старших, убитых на фронте, сыновей. Под старость он сдружился с Тлеубаем, и были они как братья – вместе кочевали, рядом ставили юрты, а теперь оба дома опустели, и уже не курится дымок над погасшими очагами... Что же до гибели мальчиков, то здесь нет вины ни правления колхоза, ни школьной дирекции, – все случилось по неразумению самих детей. К чему нынче ворошить прошлое... Больше он ничего не сказал. Тем не менее я посчитал своим долгом сходить на могилы братьев.

Похоронили их на окраине большого и старого кладбища. Я увидел два холмика, оба они не составили бы в длину и одного кулаша[1]. Поначалу холмики эти из кирпича-сырца были сложены в виде колыбели, но со временем дождь и ветер почти сровняли надгробья с землей, могилки заросли полынью. В изголовье стоял невысокий гранитный обелиск, один на двоих. На нем были выбиты лунный серп и надпись: «Братья Нартай и Ертай Арыстанбековы».

И тут я вспомнил отца этих ребят. Для одного из праздничных номеров нашей газеты мне пришлось брать у него интервью. Он принял меня дома, в своем рабочем кабинете. Пока мы разговаривали, рядом играл мальчонка лет пяти или шести. Развести ему было не занимать. Он сражался с невидимыми врагами на саблях, и пел песни, и валялся на ковре, и в конце концов свалил с книжного стеллажа несколько увесистых томов, разыскивая книжки с картинками. Пожалуй, он был слишком избалован. Внук?.. Нет, оказалось, что сын. Слово за слово, я и впервые услышал о пропавших детях, которых, несмотря на все усилия, так и не удалось разыскать.

Вернувшись в Алмату, я думал тут же пойти к Арыстанбекову. Но, поразмыслив, решил, что это ни к чему. Мало удовольствия – сообщать отцу столь печальную весть... «Сейчас старшему было бы тридцать пять, младшему – тридцать три, – говорил он. – У обоих, наверное, дети, такие же, как мой Алтай... Где-то они живут, я рано ли, поздно ли, должны объявить-

[1] Кулаш – мера длины: расстояние между концами расставленных рук

са». Что на всем белом свете дороже надежды? Я не нашел в себе ни сил, ни желания погасить ее искорку в душе человека, который сумел заново разжечь огонь у себя в очаге, поднять новый шанырак над своей головой...

Не заполнял я и место в газете, отведенное мне в связи с моей командировкой.

Когда мы прощались, Зигфрид сказал:

– Только презренный человек скрывает свое происхождение. Я никогда не забуду своего куке, аксакала Ахмета, воспитавшего и вырастившего меня. Его фамилию ношу я сам, и носят мои дети, и будут носить дети моих детей. Но живет во мне память и о том человеке, который подарил мне жизнь, – о моем дорогом отце Вольфганге Вагнере, погибшем в рядах испанских республиканцев, сражаясь с фашистами. Кто же я, спросите вы, кем считаю себя по нации?.. Я и сам иногда задумываюсь над этим. Немец?.. Не вполне. Казах?.. Тоже не совсем верно. Происхожу от немцев – это будет поточнее. Ну, а дети мои... Они как ответят на тот же вопрос?.. Впрочем, так ли это важно – копаться в своей родословной? Сейчас мы все – русло одной реки, дети одного отца. Или, если хотите, члены одной семьи, сыны одного улуса... и к чему растравлять старые раны?

Мне показалось, что это сказано им было не только от своего имени, но также и от имени Якова, Рашита, от имени всех...

Тогда я не задумался всерьез над его последними словами, но потом понял, что они совершенно правильны.

И все же было жаль бросать на ветер все то, что услышал, узнал, увидел собственными глазами в этой поездке, жаль было родившихся в связи с нею мыслей. Изменив имена реальных людей, слегка оживив картины, сбереженные их памятью, я написал не то повесть, не то цикл переплетенных между собою рассказов... Не знаю сам.

Журналист из меня не вышел – может быть, выйдет писатель?.. В душе я на это надеюсь, хотя вполне готов и к тому, что надежда моя не сбудется. Что ж делать? Перенесем и это.

Как бы то ни было, пока все решится, у меня впереди еще достаточно времени...

Переделкино – Алматы, 1973

СОДЕРЖАНИЕ

Истоки	7
Приток первый. Зигфрид, сын Ахмета	16
Приток второй. Нартай и Ертай	41
Приток третий. Яков-Жакып	71
Русло	105

Мухтар Магауин

Дети одного отца

Повесть

Корректор *Екатерина Иванова*
Верстальщик *Әсем Алмасулы*
Дизайнер *Руслан Комутов*

Подписано в печать 09.04.2026
Офсетная бумага
Тираж 1000
Заказ №9837

Отпечатано с файлов заказчика в ТОО «Полиграфкомбинат»
Республики Казахстан,
050002, г.Алматы, ул. М. Макатаева, 41

За содержание данного заказа типография ответственность не несёт.

12+

ISBN 978-601-[illegible]-3-8